

Если мужчина и женщина разделены границей, то как жить и любить? И тем более, если они попадают в водовороты судьбоносных событий, героических и трагических?

Обо всем этом – в новом, маленьком романе Бориса Горзеева.

Борис Горзеев
ПЕТРА И ПЕТЕР

*И станет мужчина мужем тебе, и ты отдашь ему свое девство,
и этой кровью своею подпишешь, что будешь следовать за ним,
и в старости и в болезни его ходить за ним, и выносить смрады его.*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

И каждый последующий день похож на предыдущий, и так длится время.

Можно подсчитать – так длится уже десятилетие. Это и есть время? Оно похоже на разбитое яйцо. А точнее, на содержимое яйца, размазанное по голой, без обоев, стене. Кто-то швырнул его о стену, обозлившись. Шершавая штукатурка, и на ней длинный сопливый комочек, тянущийся к полу. Смесь белка с желтком. Всё смешалось, не разобрать, кто, где, что.

Значит, последнее десятилетие. Ну, плюс-минус год-два. Поди упомни точно, если время – будто то самое размазанное по стене яйцо. В течение этого десятилетия (плюс-минус) я слышал голос Петры по два раза в год: под Рождество и в новогоднюю ночь. Два раза в год в течение десяти лет. Так мы перезванивались, чтобы поздравить друг друга. Или напомнить, что мы живы? Или признаться, не признаваясь, что по-прежнему любим друг друга?

Нет, всё сразу: поздравить, и тем бесслвно признаться, что мы живы. А если живы, то любим друг друга. Или наоборот: еще любим и потому еще живы. В конце двух последних фраз можно поставить знак вопроса. Или не ставить? Но если не ставить, то, значит, утверждать? Не знаю. Или знаю. Если время – то самое разбитое о стену яйцо, сопливая смесь белка с желтком, то «знаю» и «не знаю» почти равнозначны. Сие есть веское доказательство того, что бытие определяет сознание.

Начинал я. В ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое декабря звонил в Теплице или в Прагу (это зависело от местонахождения Петры в каждый конкретный год) и поздравлял с Рождеством. Когда она жила в Теплице, обычно звонил около десяти вечера, а потом, когда она опять поселилась в Праге, звонил уже ближе к полуночи, потому что знал, что она непременно отстоит всю мессу в соборе Святого Вита и, значит, вернется домой из Пражского Града позже, чем это бывало в Теплице, где местный храм находился совсем рядом с ее домом.

Голос совсем не менялся за истекший год. Об этом я думал всю неделю, то есть до новогодней ночи, когда уже Петра звонила мне. Да, теперь она. Ответное поздравление. Но оба мы знали, что это не дань вежливости. Это больной повод услышать друг друга. Это как больной зуб, который навязчиво тянет тронуть языком,

хотя знаешь, что будет больно. Знаешь – надо, наконец, пойти к стоматологу и лечиться. Удалить нерв, депульпировать полость, поставить пломбу. Или еще проще – лишиться этого безнадежного зуба напрочь и уже назавтра о боли забыть.

Лишиться Петры я не мог. А она меня. И о боли забыть не получалось. И так всю жизнь.

1.

В ту новогоднюю ночь я ждал ее звонка с понятной тревогой. Это была ночь с 68-го на 69-й. Слишком свежи события августа, да и в доме Петры не всё ладно, а точнее, неизвестно, что дальше. И по телефону всего не скажешь. И в письме не всё скажешь, даже если она решится написать. Нет, не решится – и не из-за перлюстраций, а просто потому, что с годами писать письма Петра стала натужно, будто царапала не по бумаге, а по сердцу. Пианистка, она воспринимала жизнь больше на слух. Теперь – особенно. Она *слушала*, а если что-то хотела выразить или просто сказать, то делала это с помощью рук, пальцев, порхая ими по клавиатуре рояля или по моей коже. Но по моей коже это было давно. И вообще с некоторых пор она замкнулась. Поэтому даже ее звонок раз в год, ночью 31-го, теперь следовало воспринимать почти как подвиг. Или, не знаю, все-таки желание услышать мой голос. Поздороваться, поздравить, а дальше – *слушать*.

В ту новогоднюю ночь вышло иначе. Едва поздравив меня, она продолжила печально:

– Петер, он умирает.

Странно или нет, я понял, о ком речь, поэтому спросил дипломатично: «Там?», а вот Петра ответила впрямую, не беспокоясь, что, если вдруг нас прослушивают, то могут догадаться:

– Там. В Риме.

– А! – вздохнул я. – И что – безысходно?

– Как? Ну да, э... как это по-русски?.. Безнадежно. Так?

– По-русски так. Если нет надежды.

– Надежда есть, потому что есть Бог.

Я не стал спорить по поводу этого алогизма: если действительно безнадежно, то при чем тут Бог? Какая тогда надежда? Спорить с упертой католичкой я зарекся с издавна.

Мы молчали. А время (тогда я его еще ценил и помнил о нем), время тикало, а с ним, как на счетчике у таксиста, тикали кроны Петры, женщины теперь не столь обеспеченной, чем прежде.

– Значит, это будет там? – наконец подал я голос и услышал ожидаемое:

– Там. Но то е как раз лучше, что там. Там медицина лучше. Может, еще полгода-год. Или Бог даст чудо и спасет. Надо верить.

– Конечно, – оставалось согласиться, и не только приличия ради, а потому что Петре было тяжело, я знал.

Опять молчанье. Потом ее вздох, и следом:

– Ладно, Петер мой, ладно, что ж. Теперь я слушаю тебя.

А, ну вот – она *слушает*, и это означает, что мне надо говорить.

Но я не пустился в некий монолог, а спросил:

– Как твои пальцы?

Смешок. И далее:

– Хорошо.

– Ты играешь?

– Да-да, хорошо.

– А сила звука? Ты говорила, что плохо.

– Нэ-нэ, хорошо.

Понятно: врет, не хочет огорчать. Я разозлился:

– Ну что ты заладила – хорошо, хорошо! Не води меня за нос, Петра!

– А, как? Води за нос – то е что?

– Фразеологизм. Значит, не хитри, не придуривайся, не ври.

– Хорошо, я не води тебя за нос. Я играю по легко, немного... тренинг, да.
Дома.

– А в филармонии?

– Нэ. Туда не хожу. Ну, пока. Я пока... э, официально больная, на справке от больницы. Имею право не работать. Филармония, оркестр – то е без меня.

– А зарплата?

– Нэ. Уже нет зарплаты. Но не страшно, отец пока... как раньше, всё хорошо.

Я понял. Этот наш эзопов язык мгновенно транслировался в нормальный. Привычная работа для мозга человека, живущего в условиях развитого социализма, тем более, если общаешься с «нашим» иностранцем. Я понял: отец Петры пока на прежней работе, на прежнем месте. Значит, деньги в семье есть. А вот пальцы Петры, пальцы – как? Этого я не понял. Тренинг, она сказала. Значит, еще не всё в порядке. Выступления, конечно, отменены. С оркестром другой пианист. В октябре должна была быть поездка за границу. Ну, была, конечно, но оркестр поехал без Петры. Это я знал. Тренинг. А настроение? Хуже некуда, похоже. И в Риме умирает ее кумир, ее идол, ее Бог. И что будет дальше с отцом, всей семьей – неизвестно. Милая картина!

Петра перебила стремительный поток этих мрачных мыслей:

– Петер мой, ты где? Ты меня хорошо слышишь? Скажи, что ты, скажи, я слушаю.

Я вспомнил:

– С Новым годом тебя! Дай Бог...

– А, и я тебе тоже. Бог, да, только Бог.

– И вот что, – вспомнил еще, – вот что... Я тут, понимаешь, рассказ написал, хочу тебе послать.

– О, хорошо, молодец! Ну, скорей посылай мне, я буду ждать. Очень.

– Да, на днях пошлю.

– Хорошо, мой Петер, я рада. («Рада» с чешского можно понимать и как «люблю».) На схледанову, Петер! – слышится потом издалека. (А вот это означает «до свидания».) В ответ на что, как всегда при прощании, я говорю ей «спасибо»:

– Декуйи, пани! – И добавляю: – Мам те рад.

Последнее означает «я тебя люблю». Вот такой я знаток чешского.

А Петра отвечает, причем, совсем уже тихо, ибо между нами – расстояния, да еще поделенные границей:

– Милую тэ! – И еще раз: – Милую тэ!

Это тоже «Я люблю тебя», но в простонародном выражении, свойском.

Ну да, мы с ней давно свои.

2.

Да, в те годы время имело значение и не напоминало, как теперь, разбитое о стену яйцо – вернее, его сопливое содержимое, смесь белка с желтком. Тогда время громко тикало, чаще всего радостно, звало за собой вперед. Так бывает лишь когда взрослеешь, наполняешься соками и с радостным удивлением обнаруживаешь в себе что-то новое. Например, что пушок на верхней губе стал жестким и уже не рыжеватым, а почти черным. Ну и еще кое-что обнаруживаешь (но это вслух не обсуждается). И в девчонках-одноклассницах тоже замечаешь некоторые перемены. Мы взрослеем, и это – наше время, оно за нас.

Когда время было за нас, я хорошо учился и хорошо играл в футбол, и однажды моя классная руководительница сказала, что сегодня после уроков мы с ней идем к директору. Я удивился и ответил безапелляционно: «Послу уроков я не могу, у меня тренировка». Ну да, это святое, а тут вдруг к директору, за какие-такие грехи? Учительница меня осадила: «Лёша! Симонов! Повторяю: сразу после уроков спускаешься ко мне в учительскую, и мы идем к директору. Это важно, это не просто так».

Первое, и не главное: Лёша Симонов – это я. А почему потом Петра звала меня Петером, и только так? Об этом – ниже, потому что сейчас о втором, и главном – о Петре, ну а с ней, в том числе, и о моем новом имени, которое она мне дала, и именно так и называет меня всю жизнь. Чудны дела Твои, и верно...

Оказалось, моя учительница была права, сказав «это важно, это не просто так». Но откуда мне, восьмикласснику, было о том знать? Оказалось, мне вручили не письмо, а золотой ключик, или, если по-другому, пропуск на Злату улочку, которую много потом я увижу в Праге. Чудесная улочка, правда.

В общем, чистая политика. Укрепление советско-чехословацкой дружбы на культурном уровне. На этом уровне решили организовать переписку между школьниками старших классов Москвы и Праги. Это политически понятно, а еще и удобно, поскольку в Праге почти во всех школах изучали русский язык (помимо чешского, был обязательно русский и иногда еще английский или немецкий, но это последнее не в обычных школах, а в гимназиях, где обучались дети из престижных семей, то есть партийной элиты и всякой творческой интеллигенции; всё это, конечно, я узнал потом – от моего отца и самой Петры).

Итак, директриса мне всё объяснила. Пересказываю по памяти ее радостную речь.

Школьница из столицы Чехословакии города Праги, ученица 8-го класса такой-то гимназии, отличница, спортсменка, а еще и занимающаяся в музыкальной школе, решила переписываться с кем-то из братского Советского Союза и вот прислала письмо, которое, по решению Горono, передано нашей школе, а мы (я, директор, и твой, Алексей, классный руководитель) выбрали именно тебя, поскольку ты тоже отличник и вообще хороший, интеллигентный парень и тоже спортсмен, за сборную школы играешь по футболу и волейболу. Вот и переписывайся с этой девушкой. Поначалу ответь ей, напиши о себе, о нашей школе, ну и о Москве, конечно, о нашей стране... ну, ты понимаешь. Согласен? Ну что ты плечами пожимаешь? Это ведь прекрасно – переписываться с хорошей школьницей из нашей заграницы! Бери письмо, и будь умником, понятно, Симонов? Это хорошо, это важно, это честь для тебя, честь, что мы выбрали именно тебя. Бери, иди, дома прочитаешь.

Я взял в руки конверт. Станный конверт, непохожий на привычный, на наш. То есть не почти квадратный, а узкий, длинный, запечатанный с правого бока. На конверте был написан (на машинке!) адрес посольства Чехословакии в Москве, а сбоку, уже от руки, адрес Горono. Выше значился, судя по всему, обратный адрес на чешском языке (почему выше, а не ниже, внизу?), начинавшийся почему-то с имени и фамилии отправителя. «Петра Новакова», прочел я. Это она и есть? – поднял глаза на директрису. «Она, она, та самая школьница... э, как ее, Петра, да. А что, хорошее имя, от нашего Петра, значит. Иди, Симонов, и не забудь скоро ответить, не тяни, а то неудобно получится, понимаешь? Да, и с отцом посоветуйся, он поможет, подскажет».

Я мало что понял. Скорее удивился. Почему я? И что писать ей, этой незнакомой девке с мужским именем, иностранке? Петра, да? В общем, чушь собачья...

Дома, после тренировки, на которую я, конечно, опоздал, аккуратно вскрыл конверт. Открытка с видами, как стало понятно, Праги и одна страничка, исписанная ровным, почти каллиграфическим, типично девичьим почерком. Буквочка к буквочке, ни одной помарки. Стал читать.

Это Петрино письмо, наше первое, я храню до сих пор. Ему больше тридцати лет. Странно, перечитывать его даже больно. Поэтому не перечитываю. Но содержание помню в общих чертах. Вот и перескажу вкратце.

«Дорогой московский друг!» – начиналось письмо. При первом же слове я вздрогнул: «Дорогой» – ни хрена себе! А дальше моя «дорогая» подруга из далекой заграничной Праги рассказывала о себе: в каком классе учиться (как и я, в восьмом), в какой гимназии, чем занимается помимо школы (обучается на фортепиано, играет в теннис), как ей нравится русский язык, как она желает переписываться и «иметь дружбу с русским другом из СССР». Замечу, что написано было очень грамотно (несомненно, письмо просматривал, а то и редактировал ее, этой Петры, учитель по русскому), хотя некоторые выражения все-таки выдавали иностранку, особенно вопросы, но это звучало даже мило, вызывало улыбку (например, «какие у тебя интересы вокруг школы?», «штудируешь какую литературу?», «посещаешь ли кинематограф и что рад смотреть очень особенно?». Еще она просила написать ей о Москве, какая она большая и, все говорят, красивая, а сама посвятила пару строк своей чудесной «Злата Прага», с кем нельзя было не согласиться, глядя на открытку. Там красовались Карлов мост, Собор Святого Вита, памятник Яну Гусу, вид на Влтаву и что-то еще. Маленькие цветные квадратики. Что на них изображено конкретно, я тогда не понял, ибо пояснительных подписей не было. Могло ли мне

тогда придти в голову, что вскоре всё это предстанет перед моими глазами наяву, а не во сне или в мечтах. («Вскоре» – это я иронизирую, потому что Прага предстала перед моими глазами почти через десять лет, в 67–м.)

Я ж говорю: тогда время имело конкретное значение. Никаких метафор, только реалии! Слушай его тиканье и радуйся, ибо каждая секунда – это наша жизнь, вприпрыжку бегущая в бесконечность.

Тогда я бежал не один, а с Петрой. Ее ладонь с длиннющими сильными пальцами пианистки была зажата в моей руке, и я ощущал медовую влагу этой ее ладошки, вспотевшей от волнения.

Однако это потом, потом. А пока, то есть вечером того знакового для меня дня, пришел с работы отец, я ему обо всём поведал и дал прочесть письмо (мама уже успела ознакомиться и выслушать мой рассказ). Отец читал, улыбаясь, а закончив, сказал:

– Это хорошо, поздравляю, всё идет по плану.

– По какому плану? – не понял я.

– По плану расширения и углубления сотрудничества между странами соцлагеря, в культурной области тоже. – Но затем махнул рукой: – А, ладно, дело не только в этом. Переписываться с девушкой, это чудесно, чудесно! Обязательно ответь ей, прямо завтра. Попроси прислать фотографию. Кстати, потом и свою ей пошли. У тебя есть приличное фото? Лучше на фоне Москвы. Или на фоне моря – из прошлого года, помнишь, когда мы были в Новом Афоне. Но только без меня, а там, где ты один. Понял? Хорошо. Вот и славно.

Тут надо сказать об отце. Тогда он был сотрудником МИДа, и, как я знал, не из последних. По границам разъезжал (нетипичный случай в те годы), бывал в том числе и в Чехословакии, всегда хвалил Прагу. Вот и сейчас не без удовольствия разглядывал присланную с письмом открытку.

– А, смотри, Лёшка! Это – знаменитый Карлов мост. Красотища!.. А вот это, это их кафедральный собор, самый главный, имени какого-то святого, уже не помню какого. Готика! Здорово, да... А это, – ткнул он в следующий цветной квадратик, – это Гражский Град над Влтавой, там у нас переговоры были, да... Чудесный город Прага! Может, побываешь там, если повезет. А что – всё может быть, да? Жизнь, она длинная и, надеюсь, у тебя счастливая и удачная. Учись хорошо и, – тут он добро рассмеялся, – с девушкой завяжи переписку! Вдруг сложится, в Прагу попадешь, а?.. Кстати, как ее? – Он опять взглянул на конверт: – Петра, Петра Новакова. Ясно! Ну, женских вариантов мужских имен там полно: Пётр – Петра, Павел – Павла, Франтишек – Франтишка, и так далее. Это у них нормально, не удивляйся. А вот фамилия... Новакова – это от фамилии Новак. То есть когда девушка выходит замуж за Новака, то она становится Новаковой. И дочь тоже Новакова. Понял? И кстати, это, самая распространенная там фамилия. Как наш Иванов. Точно. Я даже знал там одного Новака... ну, в смысле встречался с таким. Густав Новак, да-да, именно Густав. Член ЦК их компартии. Участвовал в наших встречах там в последний раз. Нормальный мужик, довольно красивый, статный, моего возраста. Может, он тот самый Новак? В смысле отец твоей Петры?

– Пап, ну почему сразу моей? – чуть ли не обиделся я. (Это понятно, если юноше пятнадцать лет, правда?)

Отец хохотнул и потрепал меня по шевелюре:

– Ладно, извини, извини!..

Удивительно порой складывается мозаика наших жизней. Кто ее складывает – гений или художник-алкаш? Кто из них складывает кусочки, приставляет фрагмент к фрагменту? Вот и судите, гений или растяпа-алкаш складывал нашу мозаику, но тот самый Густав Новак, член ЦК, действительно оказался отцом моей (именно моей!) Петры Новаковой. Ей–богу, не вру. Но это выяснилось после, как вы понимаете. И когда это выяснилось, многое стало понятно. Почему моя Петра училась в престижной гимназии для избранных, и почему именно ей поручили начать переписку с «дорогим московским другом», и почему потом она с ходу поступила в знаменитую Пражскую консерваторию, а потом ее отправили на стажировку в Московскую консерваторию по классу самого Льва Оборина. Всё это выяснилось потом, потом, как и то, между прочим, что членство в ЦК аукнулось для Густава Новака и его семьи преинтереснейшим образом.

Однако я слишком увлекся, слишком забежал вперед, хотя и намеками. А тогда нам с Петрой было еще по пятнадцать лет, мы не знали друг друга лично, нас разделяло пространство с границей посередь, цвело солнечное настоящее, а будущее позванивало серебряным бубенцом в голубейших небесах. Если время любить соединено с временем без нужды, без политики, без войны и прочей неизбывной мерзости, то об этом редчайшем времени потом нельзя рассказывать. Нельзя – вас сочтут ненаучным фантастом, а если вы вознамеритесь упорствовать, настаивать, что это, де, реалии, то вас отправят к психиатру, и тот поставит диагноз, поставит!

3.

Теперь мне кажется, что мы влюбились друг в друга еще по переписке, то есть до того, когда произошла наша первая встреча. Да нет, конечно, я не прав, говоря «мне кажется»: я знаю, что так и было: еще по переписке, тем более что и Петра тоже так считает, сама потом сказала.

Значит, это первые полтора года, половина восьмого класса и девятый. Сначала мы переписывались со скоростью «раз в месяц»: я отвечал где-то через неделю после Петриного письма, потом неделю это письмо шло к заграничному адресату, потом Петра тоже выжидала с неделку, писала, отправляла, ну и еще неделка, пока конверт с ее посланием не скользнет в мой почтовый ящик.

Так было в первые полгода, а потом... Потом, после летних каникул, в течение которых мы не переписывались (а это три месяца!), вот после каникул что-то произошло. Мы стали писать друг другу без всяких выжидательных пауз: получил письмо, тут же пишешь ответ, отправляешь и через две недели (ах, эта чертова медлительная почта за границу!) получаешь продолговато-голубоватый конвертик. Так было со мной, и так же с Петрой. Мы переписывались неистово, жадно, в нетерпении ожидая ответа. Это сделалось навязчивой необходимостью. Лично я ничего подобного не ожидал, даже представить себе не мог, что такое возможно. Я что, рехнулся, сошел с ума? Что со мной произошло? Интересно, что и Петра тогда задавала себе те же вопросы, как потом выяснилось.

Это «почти сумасшествие» длилось в течение всего девятого класса. О чем мы писали друг другу? Да обо всем. Будто разговариваешь сам с собой. Рассказываешь, делишься. Что прочитал, где был, что видел, как отнесся к какому-то событию, почему поссорился с приятелем... но уже вскоре – почему столько странного на свете, что есть добро и зло, что любишь, а что презираешь, что можно

простить, а что никогда. Ну и в том же духе. То есть мы обсуждали уже не только (а со временем **не столько**) событийное, сколько глубинное, проблемное, нравственное. Вот это-то нас и повязало, связало морским узлом. Вскоре мы признались друг другу, что еще никогда и ни с кем из окружающих, даже с родителями, не обсуждали таких тем; да что там не обсуждали – потребности не было!

Я нашел друга. Исповедальницу. Христианка Петра это определила так: святой отец за перегородкой–занавеской, которому исповедуешься, открываешь душу, своё тайное... Так я, шестнадцатилетний, стал для нее вроде святого отца. Ну, образ, конечно. Но точный, правильный образ. А она для меня? Тоже точно, правильно: моей душой. И это уже не образ.

Мы открывали душу, а поскольку между нами была перегородка-занавеска (а если без метафор – самая настоящая граница), то эта преграда тяготила и (чудеса психологии!) сильнее притягивала друг к другу. Хотелось жарко выдохнуть, и чтобы это тепло души огладило кожу другого, согрело ее. «Я хочу дыханьем согреть твою кожу», написал я тогда Петре, на что она (о, как я боялся ее реакции на это вольнодушие!) среагировала так: «А я хочу сыграть перед тобой до-диез минор Бетховена. Это соната N 14. Лунный свет над озером, мой Петер».

Человек я музыкально неграмотный. В те годы – особенно. Пришлось поискать ответа в библиотеке, в «Биографиях великих композиторов». Выяснилось, что эта соната – знаменитая «Лунная». И еще выяснилось, что Бетховен посвятил ее совсем юной, шестнадцатилетней венгерской графине Джульетте Гвиччарди, которой давал уроки, в которую влюбился и страстно хотел жениться на ней, однако... А ведь если бы ему не отказали, то и «Лунной» бы не появилось, не существовало. Нет правды на Земле!

Кстати, о забавном. Петра довольно хорошо писала по-русски, со временем всё лучше, однако всего не могла выразить, как хотела бы (особенно когда речь шла о духовном), поэтому выражалась кратко и намеками. Например: «Мой дорогой Петер, я думать тебе рада». Это означало, что она любит думать обо мне. Или такое: «Я желаю видеть как ты видишь мне». В переводе это прозвучало бы так: «Мне хочется знать, как ты воспринимаешь меня» или «какой я тебе кажусь». Ну и еще: ставить запятые Петра считала явно лишним. Забавно.

Однако самое забавное (но знаковое для нее) состояло в том, что она переделала мне имя. Я стал Петером. Имя «Алексей» или просто «Лёша» исчезли из ее письменного лексикона. Это случилось именно тогда, в девятом классе, когда, переписываясь, мы оба поняли, что уже любим друг друга (и не только поняли, но и открылись в этом, пусть иносказательно). Прямая и бесхитростная, Петра всё объяснила. Но объяснила потом, не в письме, а когда мы, наконец, встретились в Москве. С ее слов, это получилось так.

Моя фамилия – Симонов, а Симонов значит сын Симона, а Симон – это и есть Пётр, а по-чешски – Петер. Дальше шли интересные подробности, почерпнутые Петрой от ее бабушки, истово верующей, естественно католички.

Сей Пётр, ставший затем Апостолом, родился в Иудее в семье простого рыбака Ионы. Первоначальное его имя было Симон (это на арамейском, а на иврите — Шимон). А имя Пётр (Petrus по-гречески, то есть «камень») возникло от прозвища «Кифа» (что на арамейском тоже «камень»), и это прозвище ему дал ему Иисус.

Во как! Для меня, атеиста, сына атеистов, прямо-таки ликбез!.. Ладно, дальше. Дальше, сообщала Петра, этот Симон-Шимон был женат и «работал рыбаком»

(работал рыбаком – это прелестно!) вместе со своим братом Андреем. Встретив Петра и Андрея, написано у Матфея, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков».

Отлично! Эту последнюю фразочку я хорошо запомнил, и потом мы с Петрой долго спорили по поводу «ловцов человеков». Ну ладно, теперь не о том. Теперь о том, что я стал Петером. Ей так нравилось, а я не возражал. Да нет, мне это тоже нравилось, И до сих пор нравится – никто, кроме Петры, меня так не называл, и эта отдельность от остального и остальных мне приятна. Только она и я, Петра и Петер.

«Ты мой Петер, – читал я в очередном долгожданном письме, – ты есть камень ты будешь твердый да Петер? А я – Петра я уже твердая я люблю Бога и Деву Святую и еще одного мальчика из далека земля. Я тоже есть из далека земля но я твердая». (Запятые отсутствуют.)

Твердая девочка из «далека земля» жила в социалистической Чехословакии, и тогда вопрос: как же можно так запросто говорить о Боге, о Святой Деве? А престижная гимназия? А папа – член ЦК?

Потом, через годы, Петра только усмехнулась:

– Я всегда молчала о том, в гимназии, потом в консерватории. О том нени можнэ – нельзя. То, что мы верующие всей семьей – и бабушка, и отец, и мама, – никто не знал, не знает. Бабичка Кветослава жила и живет у себя в Моравии, в Брно, и там вольно ходит в храм, никого не боится, а мы в Праге – как мышки. Ну, папа же член ЦК! Правильно я говорю: как мышки, да?

– Как же ты мне писала о Боге? Ведь наши письма, несомненно, прочитывали!

– Нет, мой Петер! Читали наши первые письма, а потом им надоедать, и больше не читали. Ну, мальчик и девочка, пишут детское! А, и дьявол с ними! Это мне папа говорил: читать будут только первые два письма. А папа эту... эту химию знает, поверь...

Ах, хитрюга Петра! А я говорил, что она прямая, бесхитростная. Так–то так, но – женщина всё ж! Если она полюбила, то, что ей коммунисты? А и дьявол с ними!..

И еще, если о том, первом нашем, периоде. Я говорил, что Петра хорошо писала по–русски. Но она не только писала, но иногда и делала для меня, русского, открытия. Например, спрашивала, знаю ли я, что означает слово «улица»? Оказывается, от понятия «у лица». Дескать, то, что прямо перед тобой, рядом. «А переулок?» – не без иронии спрашивал я в ответном письме. «Первелок, – узнавал через две недели, – то е первая, совсем маленькая улочка. А хотя нэвим – не знаю хорошо».

Зато она знала хорошо, почему город, где живет ее любимая моравская бабушка («бабичка») Кветослава, безбоязненная католичка, почему Брно так называется. Оказывается, Брно – от слова «броня». Оказывается, там крепость, знаменитая тем, что ее так и не смогли взять ни шведы в XVII веке, ни пруссаки в XVIII. Вот такая броня. Отсюда и название города. (Хотя в XX веке это не спасло Брно от немцев, а затем большевиков. Но об этом, понятно, я не написал Петре, только так подумал.)

И в заключение, если о том периоде опять же. Наверное, надо было начать именно с этого – с фотографии.

Я внял совету отца и сразу предложил моей заграничной знакомой обменяться нашими фото. «Ты – первая, – пошутил я, – поскольку первая написала». – «Нэ я девица а ты пан. Это первый должен ты, – справедливо

парировала девица, но дальше добавляла: – И ладно я твердая смелая, поэтому с вэлким помешением. Это по–нашему с большим удовольствием мой Петер».

С вэлким помешением я разглядывал фотографию, явно обрезанную под формат узкого конверта. Это фото до сих со мной, а тогда оно тайно хранилось в ящике письменного стола, куда, я знал, родители не заглядывают. Хорошее фото! Да нет, фото стандартное для той эпохи, черно–белое, любительское. Девушка с лицом в три четверти, сама до середины груди (то есть предполагаемый размер последней не определишь даже приблизительно), в строгом, закрытом под самое горло платье. И взгляд тебе в самые глаза. Дескать, ты кто, пан? На фото глаза очень темные, и волосы очень темные, но прелесть в том, что волосы длинные, свободные, низко падающие на плечи, прикрывающие лоб, щеки, но расходящиеся в стороны, освобождая середину узкого лица. Да, узкая Петра. Темная Петра. Твердая Петра. Ты кто, пан? А пан привык, что девчонки в классе по-советски еще носят косы или, в крайних случаях, коротко стригутся, «под мальчику». А тут – такие свободные, вольные волосы! Не девчонка – женщина, молодая женщина, почти красивая.

Это я верно сказал – «почти». Пятнадцать лет. Уже не почти, а просто красивой она стала к двадцати годам, когда приехала в Москву заканчивать консерваторию и вскоре мы стали близки (тогда размер ее груди я определил полностью, а вот волосы остались теми же – длинной рекой, делящейся на два рукава спереди). А абсолютно, законченно красивой она сделалась к двадцати пяти годам. Да, тогда она достигла пика, своего совершенства, и остается такой до сих пор. Достижение пика почти совпало для Петры с «Пражской весной», это я говорю ответственно, потому что видел ее, мою Петру, незадолго до тех событий, летом 67–го в Праге. Ей–богу, красивая женщина. Довольно высокая, стройная, с гордой осанкой. Петра, короче. Чтобы вам представить ее типаж, вспомните Анук Эме из фильма «Мужчина и женщина». Строгое длинное платье, долгие волосы, молчаливые, сочащиеся скрытой страстью темные глаза, Умные глаза. А еще тонкие губы. А еще ничего лишнего – лишних слов, жестов. А еще руки, пальцы пианистки, которые, вместо слов, творят музыку касаний.

Уже не черно-белое, а цветное, но все-таки графичное, тонированное, без буйства красок. Но это потом, потом. А тогда мне было первое фото этой девушки-женщины, которое я выуживал украдкой из ящика письменного стола. И делал это ежедневно, весь девятый класс.

4.

Трагедия чуть не случилась летом. Петра написала мне, что в эти последние школьные каникулы, между девятым и десятым, и конкретно в чэрвэнэце, (то есть в июле, как было переведено), она с родителями едет к Черному морю, в Сочи, в какой-то дом отдыха ЦК для иностранных товарищей. «Какое счастье мой Петер я никогда не видела моря! – писала она дальше, и следом будто мольба: – Очень прошу если тоже не едешь в Сочи с родителями жди меня в твоей Москве потому что на пути домой в Прагу папа сказал мы два дня остановиться в Москве чтобы я смотрела твой город очень красивый. Очень прошу мой Петер!» (Отсутствие запятых опять сохраняю по оригиналу.)

У моих родителей были другие планы. Отец уезжал в долгую командировку, в Африку на два–три месяца (там вовсю шел процесс освобождения от ненавистного колониализма, и следовало вовремя подсуетиться, чтобы приобрести новых друзей социализма), мама уже договорилась о путевке в санаторий в Друскининкай, что в

Литве, а я, по их прикидке, в июле-августе, должен был отдыхать под Москвой на даче у тетки, которая там жила с сыном, мои ровесником.

Наивный парень, мне бы смолчать и в означенные Петрой дни спокойно смотаться из подмосковной Загорянки домой. Но, во-первых, я не хотел врать (это у нас было не принято), а во-вторых, мне нужны ключи от дома. Мама, как я понял, не собиралась отставлять их мне или кому-то еще, уезжая в свой литовский санаторий. Значит, надлежало сказать правду.

Я сказал. Папа с мамой переглянулись.

– Это невозможно, – повела головой мама. – Ты, один, тут? Это как? А тетя Люба, она тебя ждет!

– погоди, – мягко перебил отец, и уже мне: – Алексей, как ты видишь эту ситуацию?

От этого чуть полегчало:

– Очень просто. Встречу их на вокзале, узнаю, где они в Москве будут эти два дня... ну а потом погуляем с Петрой по городу, она так хочет посмотреть Москву! Вот и всё. Потом я провожу их, то есть на вокзале опять же.

Отец понял меня, но и маму:

– Если ты не намерен приглашать Петру сюда, к нам домой... а этого делать не надо, Лёша, то действительно, почему бы тебе не показать ей Москву? Вполне-вполне. Потом проводишь ее в гостиницу. Я думаю, они останутся в гостинице «Москва», так положено для таких товарищей, как Густав Новак. Кстати, – и смешок, – тебе надо еще получить соизволение товарища Густава на то, чтобы гулять вдвоем с его дочерью в чужом для нее городе. Получишь? Во-во, тоже задачка, это не то что тебе маму уговорить. Да, Наденька (это маме), ничего страшного, даже напротив, это очень хорошо, что ты разволновалась? Два дня, и всё. Погуляют, и всё, никакого визита сюда. Прекрасно! Надо оставить Лёшке ключи от дома, деньги на еду и ухаживание за дамой, но через два дня, Алексей, чтоб как штык был на даче у Любы! Договорились, даешь честное пионерское? Наденька, видишь, какой послушный у тебя сын? Молодец, сын! Теперь давай обсудим, как ты будешь держать себя с иностранцами, куда поведешь девушку, где будешь ее кормить, потому что в ресторан тебя с ней могут не пустить. И не надо в ресторан, понял? Значит, в какое-то кафе. Давай прикинем, что, как, где...

Короче говоря, трагедии тогда не случилось. Тогда нам с Петрой что-то позванивало серебряным бубенцом в голубейших небесах. Что? Будущее.

Мы всё согласовали в письмах. Я узнал дату прибытия в Москву их поезда из Сочи, номер поезда, номер вагона. Узнал, что они останутся в гостинице «Москва», будут здесь два дня и что ее отец в принципе не возражает, чтобы дочь погуляла по городу с молодым человеком, но часа два-три, этого достаточно. То есть вообще-то на прогулку они отправятся всей семьей, а потом дочка с московским другом отделятся, погуляют сами, вдвоем, после чего он доставит ее в гостиницу.

Отлично. Два-три часа тогда показались почти вечностью. Впервые, вдвоем. И то, что строгий папа, член ЦК, «в принципе не возражает», очень удачно. Остается не опростоволоситься. Понравится. Купить два букета, как посоветовал отец, и вручить при знакомстве у поезда матери Петры и самой девушке. Женщины это ценят, улыбнулся отец, и пан Густав тоже оценит.

Я так и сделал. Я понравился.

Да дело не в этом. Я впервые увидел мою Петру. Живьем. Всю, от волос (длинной рекой, аж до середины спины) и до пят. Она жутко загорела там, в Сочи. На этом черном фоне ее зубы, когда она улыбалась, блестели, как у негритянки в кино (живых негритянок я не видел). Она улыбалась мне. Она мне рада. Она меня любит, я это знал, чувствовал. Она даже не может этого скрыть от внимательных родителей. И ладно. Уже ничего не поделаешь. Серебряный бубенец в голубейших небесах звякнул вполне отчетливо. Мы любим. Это ясно. Уже ничего не поделаешь. Судьба.

Два слова о родителях. Мать Петры, пани Власта, довольно миловидная, среднего роста, улыбчатая, тоже с длинными волосами, чуть полноватая, какая-то вся к себе сразу располагающаяся, хотя по-русски она почти не говорила. А вот пан Густав, напротив, высокий, худоватый, статный (тип нестареющего гусара), строгий на вид (ясно, что Петра больше пошла в него, внешностью во всяком случае), он поглядывал на меня внимательно, но ненавязчиво, будто опытный разведчик. Нет, это я больше в шутку – вообще-то он произвел на меня хорошее впечатление, тем более что его почти совершенный русский время от времени окрашивался юморными словечками.

Пока мы шли к такси на Курской площади и после стояли там в короткой, слава богу, очереди, загоревшая Петра, поблескивая зубками, рассказывала мне о прекрасном Черном море («О море, Петер, море впервые, то е чудо!»), о Сочи (чудо опять же) и других впечатлениях (горное озеро Рица, что-то еще). Потом семейство уселось в такси, но перед тем мне было предложено завтра ровно в полдень быть в холле их гостиницы, они спустятся из номера, и мы пойдем гулять.

Я вернулся домой счастливый. Дом был пуст, никого, и это хорошо, потому что я не находил себе места, улыбался, разговаривал сам с собой. Наверно, влюбленный юноша производит дурацкое впечатление, если глянуть со стороны. И хорошо, что на меня тогда никто не глядел. В моих глазах стояла впервые увиденная мной Петра – моя любовь, моя чужеземная женщина, мое будущее, которое, я верил, вскоре станет настоящим – моим всегда.

Ах, мечты!

Мечты как-то потускнели уже назавтра.

Ровно в полдень я примчался к гостинице «Москва» и впервые вошел туда, в огромный холл. Странно, никто меня не остановил, не поинтересовался, кто я, зачем, куда и к кому. Пальмы в кадках, кресла, диванчики, даже небольшое отделение связи слева при входе, справочное бюро, дверь в парикмахерскую, касса железных дорог и авиа.

Минут через пять возникло святое семейство. Женщины приветливо улыбнулись, пан Густав удовлетворенно кивнул, протянул руку. Мы вышли из гостиницы к Манежу и двинулись – куда? – естественно, на Красную площадь. Всё сияло в полуденном солнце, по брусчатке шуршали ноги прогуливающих москвичей и приезжих. Посещение мавзолея, спасибо, в планы не входило, поэтому, обзрев положенное, прошли в Александровский сад и через Боровицкие ворота – на территорию Кремля. Там ходили-бродили, даже послушали экскурсовода, вклинившись в группу туристов, пан Густав время от времени принимался фотографировать, в том числе (отдельно!) меня с Петрой, в ответ на что я попросил у него фотоаппарат и снял всю семью на фоне Царь-колокола. В ходе этого променада пан Густав ненавязчиво выспрашивал меня, как я учусь, чем интересуюсь, определился ли, куда буду поступать после школы (удивился, что определенных планов у меня пока нет), кто мои родители, где работают (хотя то, что мой отец сотрудник МИДа, он, несомненно, должен был знать от Петры, я ей писал

об этом, когда мы обменивались вопросами на данную тему). Кажется, он остался удовлетворен моим рассказом: русский друг его дочери – из интеллигентной семьи, отец, как ни крути, из элиты, мать – врач, а сам сынок вполне симпатичный парень, вроде не глупый, хорошо учится, воспитанный, вот, даже цветы преподнес при встрече на вокзале.

Потом мы зашли в Успенский собор, Петра с матерью, подпольные католички, разглядывали всё с интересом, знакомясь с православием в чудом сохранившемся виде. Где-то через час, наверное, опять оказались в Александровском саду, и тут Петра, наконец, сказала, что теперь она хочет, чтобы я показал ей, как обещал, свои любимые места в Москве. Отец глянул на часы: «Хорошо-хорошо, но не позже четырех возвращайтесь в гостиницу, будем обедать, а потом у нас театр вечером. Да, Петра? Никак не опаздывай!»

Петра твердо пообещала, кивнула, и мы пошли. Вдвоем. Отдалившись от родителей, взялись за руки, как дети. Шли молча, удивленно наслаждаясь этим «вдвоем». Петра улыбалась и изредка косилась на меня. Опять через Красную площадь я вывел ее к Большому Каменному мосту, и, перейдя на противоположный берег реки, мы сели на речной трамвайчик в сторону Парка культуры.

Народу на палубе оказалось много, все лавочки заняты, и нам ничего не оставалось, как стать у борта, облокотившись о поручень. И хорошо. Я просунул руку под руку Петры, и она тут же прижалась ко мне всем боком. Молча опять же. Глазела на открывавшиеся виды, на воду в реке, улыбалась. Наконец я спросил:

– Ты как?

– О, хорошо! Как красиво!

– Нет, я о другом: ты – как?

Она поняла:

– О, русский язык! Разумею, да. Я тебя... я тэ милую. Разумеешь?

– Понимаю. Я тоже тебя люблю. Нет, не так: я очень тебя люблю, очень! Разумеешь?

– А, да. Вэлми, вэлми! Значит, очень, да. Вэлми милую тебя, мой Петер! Ты... очень красен. Вэлми красивый, значит. Разумеешь? Я думала в Праге, думала – как ты... э, какой ты? Ты – очень, очень. Твои письма, и ты здесь, сегодня. Ты – мой Петер. Я тебя люблю.

У меня поплыла голова. Что теперь?

– Я хочу... хочу целовать тебя, понимаешь?

Петра спокойно кивнула:

– Хорошо. Можно. Ливат – целуй.

– Тут неудобно, полно людей.

– А, да. Нени можнэ. Нельзя, разумею. Значит, давай... э, ховаться, да? Давай ховаться от людей, этот корабль. Да?

Конечно, тут же понял я, Петра права: надо сейчас же спрятаться, сховаться, как она выразилась, уйти отсюда, с этого кораблика. А куда? Ну ясно куда: домой, ко мне. И нарушить данное родителям обещание? Ну и пусть! Я и Петра, это сейчас важнее, сейчас и всегда.

– Пойдем, – позвал я ее, – пойдем, скоро будет остановка, пристань, сойдем на берег.

– Хорошо, пойдём. А куда, мой Петер?

– Ко мне домой, это не так далеко.

– А твои мама и папа?

– Их нет в Москве, я там один. Идём?

Петра вдруг опустила голову. Волосы сразу скрыли её глаза, всё лицо. Но вот она развернулась ко мне, откинула в сторону пряди и глянула горько, почти испуганно:

– Петер... Это нени можнэ. Нельзя.

Я удивился:

– Ты меня боишься?

– Нэ, нэ, Петер. – И тут указала себе в грудь, там, где сердце: – Я боюсь не тебя. Я боюсь себя. Разумеешь? – И повторила долгим шепотом: – Петра боится себя.

Я понял. О боже! Значит, нет.

– Значит, нет? – произнес вслух.

– Да, Петер мой, нет. Это сейчас много. А потом... потом назад в отель, мама, отец, они хорошо увидят, если...

Да, конечно. Она права опять же... Я сглотнул и попытался улыбнуться, потому что глядеть на выражении Петриного лица стало горько. Бедная девочка. Бедный я.

– Хорошо, Петра, ладно, ты права, не пойдём ко мне домой. Но... я должен тебя целовать! Пошли, я знаю где!

Мы сошли на ближайшем причале, у Крымского моста. Там вдоль набережной был большой сквер, но целовать Петру в здешних кустах или за деревьями мне показалось неуместным, и я повлек её через арку во двор большого дома позднесталинского периода, а там толкнул дверь в ближайший подъезд.

В подъезде было тихо, почти сумеречно после яркого света улицы и совсем не пахло кошками. Мы поднялись на пол-этажа к окну с глубоким подоконником. Петра уложила на него сумочку, до того висевшую у неё на плече, и развернулась ко мне.

– О'кей, – произнесла почему-то по-английски, – здесь хорошо, целуй меня...

Сколько истекло времени, пока мы страстно целовались, я не помню. Зато помню её тело, вжавшееся в меня, её мягкую грудь, спину и всё нижерасполагавшееся, куда доставили мои руки. Когда такое у вас впервые, то можно сойти с ума. Тем более если вам только шестнадцать. И даже не столь важно, что есть одежда, сквозь которую не чувствуешь, не слышишь кожу, голую чистую кожу, – но ты чувствуешь и слышишь сердце, всю любовь, ты несешься по тёмному тоннелю бессмертия, в конце которого – свет, твоя вечность.

– Я чувствую тебя, – вдруг прошептала Петра, – тебя... ты там большой и сильный такой! О, Дева Святая, помогай мне!.. Оставь меня, Петер, я больше не могу, это так... мучит, э, мучить себе... Нам пора в отель... Последний раз, целуй последний раз!..

Мы выбрались из подъезда, сели на ближайшую лавочку. Петра сказала серьёзно:

– У меня ноги ещё... как это?... дрожат, да?

– Да, дрожат. У меня тоже.

– Хорошо, что мы не сделали это... Мы это сделаем потом.

– Когда?

– Еще год, я окончу гимназию, стану совсем большая, ты сделаешь мне визит в Прагу. Еще год, да. Бог даст. Бог – это ждать, это верить.

– И терпеть, – добавил я с иронией.

– А, Петер, никак по иначе. Всё хорошо. Ты есть, я есть. Есть любовь.

– Послушай, Петра, а во сколько лет у вас можно жениться, идти в загс?

– Загс? Не понимаю, расскажи, что то е, это как?

Я объяснил. Она засмеялась:

– А венчаться! В восемнадцать. А если родители панны согласны, то и раньше, но если пан постарше. Но только в соборе, и настоятель благословит.

Я представил себе эту ситуацию: собор, горят свечи, звучит орган, ихний батюшка, то есть католический священник – и я, советский атеист, а рядом Петрин отец, член ЦК. Рехнуться можно! Бред эпохи социализма!

И рассмеялся. Петра расширила глаза и вдруг рассмеялась тоже:

– Я разумею, разумею, о чем ты, почему! Ой, чудо, чудо, прямо горжи!

– Что такое «горжи»?

– А!.. Ну то е... когда горит. Когда дом горит. Ну, горит!

– Пожар?

– Да–да, пожар. Но тут это юмор. Горжи – а все смеются. То е очень смешно.

– Да, очень смешно у нас с тобой, это точно!

Она взяла мои ладони в свои:

– Петер! Нам нени можнэ тескнит!

– Что такое «тескнит»?

– Э... ну, еще у нас говорят – трухлит.

– Трусить, что ль?

– Да, бояться... А, вспомнила: грустить! Нам нельзя грустить, мой Петер! Я тебя люблю, и есть Бог, он со мной, и всё мне даст, мне и со мной тебе. Разумеешь?..

Да, я разумел. То есть всё понимал. Кроме одного: вот завтра Петра уедет, а я останусь и не увижу ее еще год, а если по правде, два, а то и три. Это как? Как жить? Как же можно не трухлит, не тескнит или, проще говоря, не грустить? Да тут не грустить, тут выть надо!..

Печальные, мы поехали в гостиницу. Дошли до метро «Парк культуры» и через пятнадцать минут были на месте. В холле Петра повела меня к лифтам, показала пропуск–карту швейцару, мы поднялись на какой-то этаж, долго шли по длинющему ковру и наконец остановились перед дубовой дверью в номер. Открыл пан Густав, улыбнулся, оглядел дочь, обнял ее и пригласил вовнутрь. Я только увидел сквозь дверь, как там шикарно, в первой комнате, гостиной, но заходить не стал.

– Простите, мне пора.

– Нет-нет, а обед? – явно удивился пан Густав. – Мы все вместе, и с тобой, Алексей, сейчас идем на обед в ресторан, на 7-й этаж.

Тут же показалась пани Власта и что-то горячо заговорила по-своему, адресуясь к мужу.

– Вот и моя пани не понимает, как же мы без тебя? – продолжил он и глянул на дочь: – Петра, пригласи Алексея! Как же так? Петра!

Но я опередил ее:

– Простите и спасибо. Мне действительно надо сейчас за город на дачу, я обещал тетке, что буду к вечеру, а ехать долго. И я не голоден, мы с Петрой зашли в кафе, перекусили. (Всё это я соврал, конечно: и на дачу не собирался сегодня, и ехать туда было не долго, и ни в какое кафе мы с Петрой не заходили.) Еще раз спасибо и извините. Я пойду. А завтра буду на Белорусском вокзале, провожу вас, если не возражаете. Номер поезда и вагона я помню.

Пан и пани развели руками, а Петра (демонстративно, что ли?) вложила свою ладошку в мою и кивнула родителям:

– Я провожу Алексея до лифта.

Там мы и расстались. Быстро коснулись друг друга губами, перед тем убедившись, что нас никто не видит.

Я поехал домой. Чувствовал себя странно – то радостно, то отвратительно. Первое было сопряжено с памятью о живой Петре, поцелуями и ее телом, которое я впервые обнимал еще пару часов назад, а второе с тем, что теперь я ее долго не увижу, очень долго, нестерпимо долго. Ну, это если не считать, завтрашнего прощанья на Белорусском вокзале, у поезда «Москва – Прага». Хотя разве это стоит считать? Десять минут, и всё. Потому что я намеренно приехал именно за десять минут до отправления. Чтобы не мучить Петру и себя.

5.

Теперь я не представляю, как прожил те годы. Просто не знаю, как прожил. Годы без Петры. И ведь не два и не три, как полагал тогда, а целых четыре. Плохо прожил, очень плохо.

Нет, вообще-то нормально прожил. Окончил школу с серебряной медалью (чертова физика – всегда с ней были нелады!), поступил на журфак МГУ (хотя отец советовал идти в МИМО и даже хотел поспособствовать, а мама тянула по своим стопам в медицинский), хорошо учился, нормально общался с друзьями, много читал и даже стать пописывать (но в стол, в стол!). Что еще? Держал в голове, как бы мне заиметь свою квартирку, где (о, мечты!) мы будем с Петрой, но откуда ж студенту взять такие деньги, пусть и с родительской помощью? Нет, я жил с ними, мы хорошо ладили, однако никогда не обсуждали ситуацию «я плюс Петра», потому что, я чувствовал, тема связи сына с иностранкой, даже «нашей», издавна не вызывала восторга в доме, хотя ничего негативного в этом отношении я не слышал. Но понимал: дело не Петре как таковой, дело в самой ситуации, нетипичной и, кто знает, может быть, рискованной в условиях конкретной страны и того времени.

В условиях конкретной страны и того времени нам с Петрой оставалось переписываться. Что мы и делали неостановимо, регулярно и со всем душевным тщанием. Этим ее писем за те годы у меня набрался целый том (ну, сотня, это точно), и на их основе можно было бы написать неплохой роман в письмах, романтический, нежный и страстный. А что – может быть, и напишу когда-то.

Ну а что Петра? – я имею в виду уже событийно. Гимназию она окончила, конечно, с отличием, равно как и музыкальное училище, и потом поступила в Пражскую консерваторию по классу фортепиано. Много занималась и, как я понимал, вполне успешно, уже участвовала в каких-то концертах и конкурсах, но пока в пределах Праги, а затем Чехословакии. Я не знаток музыки, тем более, никогда в те годы не слышал исполнений Петры, но, судя по ее письмам и присылаемым ксерокопиям из тамошних газет и журналов, ее отмечали как несомненный талант и прочили большое будущее. Ах, будущее!

И еще о Петре. Об удивительном и родном. Нет, именно о родном, потому почти не удивительном. Она, моя Петра, за эти годы пристрастилась к чтению русской литературы. Классики. Особенно ей нравился Толстой (прочла все его главные романы), а вот Достоевский – не очень, а если точнее, она не приняла его душой. «Это сильное но болезненное, – писала она мне, – а болезненное и сильное это по не моей душе понимаешь мой Петер?» (Запятые в ее письмах по-прежнему отсутствовали, хотя изъяснялась по-русски она почти уже совершенно, и чтение русской классики тут, несомненно, сделало свое дело.) Так вот, я и говорю о родном. О Толстом и Достоевском. Об этой разнице. Ведь и у меня было точно так же. Толстого я обожал, а к Достоевскому относился уважительно, но и опаской, и многое у него вызывало отторжение. «Сильное, но болезненное» – Петра выразила главное, и главное даже не в этом писателе, а в нас с ней: мы оба чувствуем одинаково, мы действительно родственники душами... Да, сильное, но болезненное. Это не наше, не по нам.

Значит, пианистке и почитательнице Толстого Петре Новаковой прочили большое будущее, а я учился на журфаке, за тысячи километров от нее, и между нами была граница. Граница имела место быть, но нас, разлученных, мы верили, ждало будущее, общее.

Ах, будущее! И как звякнет в голубейших небесах наш серебряный бубенец? Вот и послушаем как. Не всё так просто и прекрасно, оказывается. Нам уже не по шестнадцать, а по двадцать скоро.

На что это я намекаю? Да на письма Петры опять же. Нет-нет, не на какие-то изменения в отношениях, не дай бог, не на трещинку в нашей прекрасно-заочной любви, не на ее, моей Петры, охлаждение ко мне. Нет. Дело в том, что от ее писем как-то исподволь, пока намеками, пахнуло политикой. Да, запашок. Едва уловимый, но, несомненно, мерзкий.

Вот такая штука.

6.

Значит, четыре года. Четыре! Как они прошли для нас – см. выше, в предыдущей главе. Если совсем уж коротко и о главном – мучительно.

Теперь – новая глава.

Мы отучились три года – я на своем журфаке МГУ, Петра – в своей Пражской консерватории. У меня, если по сути, ничего не менялось, а вот у Петры... Поэтому о ней.

Ее знаменитая Пражская консерватория имела одну особенность: формально она давала не высшее музыкальное образование, а среднее. Поэтому если кто-то из студентов желал получить высшее специальное образование (а это было очень важно для последующей карьеры – участия в международных конкурсах, концертном преподавательской деятельности), то надлежало продолжить обучение по специальности – либо там же, в консерватории, либо в другом высокостатусном заведении в Чехословакии или за границей – например, в Московской консерватории. Последнее было возможным для очень талантливых выпускников, показавших себя по всем (в том числе, морально-нравственным) параметрам. Понятно, что под этим подразумевалось в социалистической стране.

В той социалистической стране у Петры было всё: талант, отличная успеваемость, успешное участие во внутренних конкурсах, но главное – кристальная биография, которую олицетворял папа, Густав Новак, член ЦК Компартии. Отсюда не странно, что уже после трех лет в Пражской консерватории Петре Новаковой предложили продолжить обучение в Москве, так чтобы еще через два года не только иметь высшее образование, но и, при удаче, показать себя мировым корифеям, а при суперудаче – заявиться на престижные конкурсы и проявить себя в них. В общем, знаменитая Московская консерватория – это пропуск в высокое профессиональное будущее. А поскольку, как пообещали Петре, ее направят учиться по классу фортепиано к самому Льву Оборину, то это, говоря нашим языком, как ухватить за хвост жар-птицу. Ну, при условии, если уже в Москве Петра понравится Оборину на прослушивании.

Петра понравилась и ухватила. Золотое перо оказалось в ее сильных руках.

Обо всем этом, кроме последнего (прослушивании у Оборина и «ухватила»), я знал из ее последних перед приездом в Москву писем. И летом 64-го Петра приехала. К Оборину? Да, к нему, но и ко мне.

Да, формально она приехала для продолжения учебы по классу профессора Оборина в Московскую консерваторию и на два года поселилась в Собиновском переулке (о последнем – ниже), однако, если уже не формально, а фактически, то приехала она ко мне, чтобы быть моей, а я – ее. Мы встретились, мы стали вместе, одним целым. Наконец.

Несомненно, эти два года стали самыми счастливыми в наших жизнях. Мы вместе, мы еще ослепительно молоды, сильны телами и душами, есть крыша над головой и нет никакой нужды, над нами не грохочут самолеты, несущие бомбы, не грохочут по мостовым гусеницы танков, никакого не ловят, не сажают, и как это прекрасно, это единственно правильно и справедливо – любить дарованного тебе самим Богом человека! (Про Бога – это по высказыванию Петры на наш счет.)

Два года счастья. А что – не мало, даже если потом... Ну, про потом – потом.

Я встретил Петру на Белорусском вокзале. Боже, какая красивая! Девушка-женщина, которая на подходе к пику красоты (к почти двойнику Анук Эме, если помните).

У красавицы оказалось много вещей («Ну да, я же надолго, а у вас, говорят, зимы холодные, вот и шубку привезла!»), мы погрузились в такси и покатали в Собиновский переулок. По пути я узнал то, о чем вкратце Петра мне уже писала.

В Собиновском переулке есть особняк, в котором Московская консерватория арендует несколько квартир для своих иностранных студентов и иногородних преподавателей. От самой консерватории, которая на улице Герцена, до этого переулка совсем близко, минут пять-семь пешком. Чудесно!

И верно, оказалось чудесно. Большой особняк. Бывший доходный дом (под номером 7) по бывшему Малому Кисловскому. Как я потом узнал, его построили еще в 1890-м году, и когда-то в нем жили известные музыканты. С некоторых пор тут арендует консерватория, которая на бывшей Большой Никитской. До нее пешком действительно пять минут. Удобно. Тихо. Очень по-московски. Красиво.

На третьем этаже – квартира, где должна жить Петра. Номер 13. Отличное число! Старая, но очень ухоженная, уютная двухкомнатная квартира. Буковый паркет широкой ёлочкой, глубокие подоконники, высоченные потолки. Газовая колонка в ванне и на кухне. Старинные плафоны. Телефон, телевизор. После мы выяснили, что в этой квартире (правда, без телефона и телевизора) некоторое время проживал композитор Танеев, а то ли здесь же, то ли рядом когда-то жил знаменитый художник Исаак Левитан. Ничего себе тени прошлого!

Нынешней тенью, то есть соседкой Петры по квартире, оказалась консерваторская представительница коммунистического Китая. Я не оговорился – действительно тенью. Ибо эта студентка-китайка по имени-фамилии Лю-Тао-Ци было мала ростом, совершенно плоска, с серо-желтым лицом и худыми кривоватыми ножками, едва приметными под платицем ниже колен. Вскоре Петра окрестила ее на славянский манер Люшкой, на что Лю никак не обижалась. И вообще она оказалась хорошей, очень нам удобной: домой заявлялась ближе к ночи, потому что работала (то есть училась) упорно, сугубо по-китайски, говорила мало и по-русски плохо (но понимала нормально, всегда кивая в ответ), мало ела за ужином, вскоре укладывалась спать в своей комнате, а утром, когда Петра просыпалась (или мы с Петрой), то Люшки дома уже не было. Очень удобная соседка, хорошая. Когда редкими вечерами она пораньше возвращалась из консерватории, Петра всегда звала ее на кухню к столу, и по прошествии нескольких месяцев Лю совсем перестала нас стесняться, даже улыбалась, даже что-то мурлыкала, произнося русские слова с кошачьими модуляциями, и вообще мы стали почти друзьями, опекали ее, иногда зазывали ее с собой в кино или в театр, но Люшка упорно отказывалась, блюдя невинность духа и чистоту коммунистического сознания. Личной жизни у нее не могло быть по определению. Как же ей было одиноко, понял я потом!

Училась же она, повторяю, упорно и, по рассказам Петры, которая не раз слушала ее в консерватории, играла на скрипке превосходно. Ах, если бы не последовавшая вскоре в Поднебесной «культурная революция», быть бы нашей Люшке гордостью Китая, а то и мировой знаменитостью, кто знает!..

Итак, Петра приехала, было начало осени, сентябрь («зари», как называла по-своему Петра), чуть пасмурно, но безветренно, спокойно.

Через некоторое время, когда она пообвыкла в квартире, а в консерватории перезнакомилась с профессорами и студентами по классу, я предупредил родителей, что сегодня, может быть, не приду ночевать. Они поняли, поскольку

знали о последних моих делах, я им рассказывал. Но дело было не в молчаливом понимании папы и мамы, а в Петре. Она-то как?

Вечером я встретил ее у выхода из здания консерватории, и мы двинулись в Собиновский. Люшки, конечно, дома не оказалось (всё пиликает на скрипе, бедняжка!). Мы поужинали, и я сказал прямо:

– Сегодня я останусь у тебя.

– О! Вот так! – Петра чуть не поперхнулась чаем. – А Люшка? Ты... она придет, и как?

– Люшка придет поздно, и вообще она за стенкой. И вообще, при чем здесь Люшка? Я и ты. А Люшка – нормальная, молчаливая, утром я скажу ей: «Коммунистический привет, Люшка! С добрым утром и хорошим днем!»

Петра сидела, почти окаменев.

– Я знаю, что ты и я... то е будет. Знаю, – повторила тихо, – но... Ты решил?

– Да. Я тебя люблю. Это всё, это должно быть.

– И я тебя люблю, мой Петер. Только...

– Что?

Она повела плечами, потом попыталась улыбнуться, потрянула головой, рассыпав волосы на лицо. И сказала, вздохнув:

– Чай, чай, пей чай. Хорошо, потом, там... в комнате... там.

Конечно – там. Я сглотнул слюну, потом быстро допил чай. Я волновался. А она?

– Пошли, – позвал, – пошли в комнату. – Протянул руку и вовлек Петру за собой.

В комнате было почти темно.

– Не надо свет, не включай, – попросила она и, остановив меня, прижалась всем телом.

Мы стояли возле дивана. И тут... Она охватила руками мою шею и заглянула мне в глаза. А я увидел ее глаза. Темные в темноте, они светились. И тут она заговорила. Мне навсегда запомнился тот наш диалог.

– Ты хочешь взять мое девство? – ясным шепотом спросила Петра. Я лишь кивнул. – Но если я отдам тебе мое девство, то я отдам тебе всё, всю себя, и это до конца, разумеешь? До нашей старости. И когда ты станешь стариком и заболеешь, я буду ходить за тобой, разумеешь? Буду возить тебя в коляске и выносить за тобой. И мыть тело твое, разумеешь? Ты то е готов? Ты то е хочешь?

Я растерялся. Конечно, когда она произнесла слово «девство», я всё понял. Да, я хочу этого, очень хочу, ответил бы я просто и искренне, но всё, что она произнесла потом, почти потрясло. Мне и в голову не могло придти такое. Мы молоды, мы любим, мы хотим близости, мы вступаем в настоящую взрослую жизнь, а тут – какая-то старость, болезни, возить в коляске, выносить... Что выносить? Ах, да-да, кажется, понятно, что она имеет в виду, о господи!

– Откуда это знаешь? Откуда это так? Так! – чуть повысил я голос. – Про... про до конца, до старость... про возить в коляске и... и прочее?

Петра опять потрянула головой, привычно рассыпав волосы по лицу. Но глаза я по-прежнему видел. Они светились.

– Откуда так? От бабички моей Кветославы. Она из Моравии, из Брно, я говорила тебе, да? Она мне про всё рассказывала, когда я гостила там, каждый год летом, а про это рассказала, еще когда я подросла только... э, лета двенадцать мне было. Про девство женское рассказала, про мужа единственного, моего мужчину, которому я должна отдать девство, и если ему отдам, то с ним должна быть до его конца, и про старость его. Это, сказала баба Квета, есть Протокол любви. Какой Протокол? – спросила я ее. А она: то от Бога и Дева Святой, его должна подписать отдающая девство своей этой кровью... Вот, рассказала, теперь я всё знаю. Вот и спрашиваю тебя: ты хочешь взять мое девство? Ты к этому готов, ко мне до конца с тобой? Про жить до старости и до смерти твоей?

У меня мурашки забегали по спине. Эскадронами. Сверху вниз и обратно. Сначала эскадрон белых, потом эскадрон красных, с Чапаевым на лихом коне. Мне бы от страсти к полотку взвиваться, а я чуть не тряусь от страха. Или от озноба... Старость! Смерть! Как про это **сейчас?** Петра, ты что?

Петра поняла. Черт возьми, она всегда всё понимала!

– Я тебя... тебе сделала страх? – Но тут же поправилась: – Я тебя напугала? Нет-нет, всё хорошо, хорошо, мой Петер! Если ты так хочешь и всё готов... если ты так со мной, так мой, то и я готова. Если ты так, то да. Бери.

Я продолжал стоять истуканом. Петра усмехнулась ласково:

– Хорошо. Ты это... тут, жди, а я постелю новое, чистое, а потом ты ложись, а я в ванную комнату иду, быстро.

Она перестелила диван, потом достала из шкафчика халат, молча указала мне на постель (дескать, раздевайся, ложись) и вышла в коридор. Я разделся, лег. Простынь обожгла холодом. Смутно слышал шум льющейся воды. Смутно чувствовал, что не готов к действию, к любви – Петра будто отодвинула мою страсть куда-то в сторону. Я понял, **как** она любит. Меня? Ну да, меня. Того, кто с ней, с кем она. Она – такая, она подпишет свой Протокол своей девственной кровью. Мне опять стало страшно. Она – да, а я-то, может быть, не такой?.. В комнате стало совсем темно. И тихонько вошла Петра.

Она подошла вплотную к дивану, стала надо мной, потом скинула халат и вся вытянулась. Я увидел ее. Всю. Стоящую. Во тьме. Силуэт. Нет, тело. Скульптура.

Эту скульптуру, это тело Петры в тот момент, я запомнил на всю жизнь. Снизу вверх. Бедра, плоский живот, грудь, лицо. Нет, лица я не видел во тьме, только чуть светились глаза. Она видела, что я ее вижу, и ей это понравилось, я понял. Вот она склонилась надо мной, и ее грудь оказалась перед моим лицом. Две виноградные грозди, полные, сытые сентябрьские грозди, свисающие надо мной. Дразнящее «вот я, бери, открывай рот!»

Так прошла, верно, минута.

– Тебе хорошо? – послышался шепот. – Вот так хорошо?

– Да, – ответил я. – Ложись. – И протянул руку.

Петра улеглась, прижалась боком, обняла. Странно, мы молчали.

– Я тебя напугала, мой Петер? – опять услышал я тот же вопрос еще через минуту.

– Я понял, как люблю тебя и, да, даже испугался.

– Нет-нет, так нени можнэ, так нельзя – любить и испугался!

– Любовь и страх несовместимы, – перевел я и усмехнулся: – А если так любишь, то боишься. Боишься потерять.

– Нэ-нэ, нени можнэ! – повторила Петра, но вдруг рассмеялась: – О, Боже, когда я близко с тобой, совсем близко, то опять перехожу на чешский – ну, как себе говорю, с себе... с собой, да. Когда ты, то я с собой... Э, Петер мой, почему ты не делаешь это? Ты будешь меня брать? Я хочу, бери, да.

А я не мог. Нет, не физически, а... А как? И сейчас не могу выразить.

– погоди, я сейчас, – шепнул, – еще немного.

Петра протянула руку и стала гладить.

– Всё хорошо, Петер, всё твое прекрасно, сильно... О, Дева Святая, как это много, большой как!.. Я хочу его целовать. Хочу. Можно? А как?.. Э, вот так.

Я почувствовал ее губы, стало жарко и холодно одновременно. Ледяной жар, так бывает? Не знаю, не помню.

Помню только, что вскоре лег на нее и перед тем, как раздвинуть ей ноги, стал целовать глаза. Чтоб она закрыла их, наконец, чтоб они не светились, не прожигали меня...

Потом (когда – потом? и сколько вообще это длилось?), потом вдруг услышал шепот:

– Люшка пришла.

– Ты слышала?

– Да, дверь хлопнула.

– А я не слышал.

– Хорошая Люшка! Пришла когда надо... когда уже... когда я стала пани, а не дева. – Петра опять тихонько рассмеялась. – Мне хорошо быть твоей пани. Теперь я принимаю твои комплименты, мой Петер! Скажи мне: пани Новакова!

Я сгреб ее в охапку, стал целовать.

– А когда ты станешь моей женой, пани Симоновой?

– А ты хочешь? А хоть завтра! Венчаться завтра!.. Э, нет, Петер, это я смеюсь, венчаться мы будем в соборе Святого Вита, у меня в Праге, у самого архиепископа, но не у Йозефа Берана, к сожаленью, он сейчас в изгнании, уже не под домашним арестом, декуйи, спасибо... но там, там, у Святого Вита, поверь! Ты так хочешь?

– Хочу. Хочу – как ты. Хотя это сказка, конечно. Петра, ты реалист?

– Я пианист, – произнесла она вдруг совершенно серьезным голосом. – Я играю музыку. Моя любовь есть моя музыка, и ты, мой Петер, есть моя музыка. Мне ничего не страшно, и всё есть не сказка, а ты и я. Петер и Петра. Всё...

Она, Петра, была права. Мы и есть всё. Жаль, что бытие этого не принимало, не желало принимать. Бытию важно размножение, а не любовь...

Что было потом? Что еще – тогда, той нашей первой ночью.

– Тебе было очень больно? – спросил я.

– Совсем нет, – тут же отозвалась Петра, и опять серьезно. – Ты мой муж, а если так, тогда не больно.

Мне стало совсем легко, и захотелось подурачиться:

– Какой же я тебе муж, если мы не обвенчаны? И ты стала женщиной, а не обвенчана. Это не грех? Твой Бог, как он к этому отнесется?

– Тут не Бог, а Святая Дева. Она позволят, когда любовь.

– А, вот как! Вот так у вас, католиков! Если так, то, значит, можно.

– Да, вот так у нас. Святая Дева позволят, если очень любишь. И Господь Иисус любил без освящения брака в храме иерусалимском.

– Кого любил?

– Как кого? Марию Магдалину.

– Грешницу? Ту самую?

– Да. Отпустил ей и возлюбил. Любить – то е прощать. Любить можно и до венчания, и без венчания, Дева дозволяет. Она не дозволяет дитя от любви убивать... Э, аборт, разумеешь?

– Да. А ты как?.. – Я замялся. – Как будет, если сегодня?..

– Э, нэ, нет! – Я скорее почувствовал, чем увидел, что Петра улыбается. – Сегодня нет, я знаю. Меня бабичка Кветослава обучала. Э, то е когда будет, а когда нет. Я хочу дитя, хочу от тебя, Петер, но это не сегодня, это потом, после венчания. Ты приедешь ко мне, мы пойдем к Святому Виту, и всё потом у нас будет, дитя.

Вот такой план выстроила моя Петра. Разумная католичка, романтик, пианистка. Она еще ничего не знала, да и я тоже – про бытие.

– Лежи, Петер... нет, встань, я новое постелю, чистое, а то... ну, разумеешь? И в ванную комнату схожу, мне надо. И Люшке скажу, что ты со мной, а то она утром испугаться будет. Трестись будет. Хорошая у нас Люшка, тихая мышка. Ну, встань, Петер, я постелю новое...

Я улегся на новую простынь и уставил пустой взгляд в невидимый потолок. Я плыл. Я был счастлив. Я всё испытал. (Еще один романтик!)

Нет, не всё, оказалось.

Вернулась Петра, сбросила халат, легла, прижалась. И вдруг:

– Скажи, Петер мой, ты за эти годы... ты никогда меня не забывал?

Вот черт, я всегда понимал ее иносказанья, всегда понимал, что она имеет в виду! Вот и сейчас тут же понял. «Ты никогда мне не изменял?» – вот что хотела она спросить.

Я похолодел. Я мучительно помнил об этом весь последний год.

– Это было однажды. Я забыл о тебе на полчаса. А потом, уже через две секунды после... конца, через две секунды – вспомнил... Это мрак.

Петра молчала. Вот и всё, подумалось мне. Конеч. Она этого не переживет. А если переживет, то как? Оказалось – так.

– Ты меня любишь, – утвердила она. – Я знаю. Меня давно не было, долго, вэлми долго. Мужчина долго не может, разумею. Ты ее, ту пани, не любил, я знаю.

– Да, – подтвердил я, – не любил, просто, понимаешь...

– Э, не надо говорить, я знаю. Знаю, Петер. Вот и говорю: не мучит. Э, то е не мучь себя. Я буду не помнить про это. Я не буду тебя винить. Почему? Прощать, так, да? Да, прощать. Я тебя люблю. Любить это прощать. Так Бог говорит. Прощать,

если любить. Не помни про то. Я тебя люблю. Всё простить тебе, всё. Надо простить... э, надо прощать. Любить есть прощать. Так...

Так мне отпустили грех. А больше я не грешил никогда.

Пройдет много лет, и я пойму то, что тогда только почувствовал:

Есть тот редкий случай, когда физическая близость – только способ обрести близость духовную, сродниться, срастись душами. То есть женское тело, которое я желаю и которым обладаю, – это туннель для проникновения в ее, моей женщины, душу. А если так, то сотворится наше родство. Конечно, с материалистических позиций это полная чушь, ибо природе важно как раз сугубо физическое: чтобы осуществлялось воспроизводство, а до прочего ей нет дела. Но человек – парадоксальное животное на Земле. Некоторым человекам любовь дана еще и для воспроизводства духовного.

Трагедия любви в том, что чаще всего этот туннель – глухой, то есть с наглухо закрытым, замурованным концом. Везет лишь избранным...

Той женщиной, о которой речь, была Петра. Только она. И, благодаря ей, я стал избранным.

7.

Иногда события параллелятся, это известно.

Еще через несколько дней, поздно вечером, когда я вернулся от Петры (мы решили сделать перерыв на эту ночь, чтобы наконец выспаться), ко мне к комнату зашел отец.

– Потреплемся, Лёшка?

– Конечно.

– Тогда сугубо мужской разговор – не как отец и сыном, а как два друга. Идет?

– Естественно.

Я любил отца, несмотря на его нравоучительные беседы со мной, правда, дозированные. Например, о необходимости после окончания МГУ обязательно вступить в партию. Тут у нас возникали дебаты, даже споры. А вот сейчас – что, опять? К счастью, нет.

– Как твоя Петра? Расскажи мне о ней, что считаешь нужным.

– Да и нечего скрывать. Могу рассказать всё.

И рассказал. Про ее дела в консерватории, про квартиру в Собиновском, даже про ее упорное католичество (но это будто в шутку), про ее надежды на профессиональные успехи, про Льва Оборина, от которого она прямо-таки без ума.

Отец внимательно слушал, понимающе кивал, улыбался. Когда я иссяк, задал вопрос впрямую:

– Ты ее любишь?

– Да, очень.

– А она?

– Тоже.

– Прекрасно! И вы уже близки, как я понял.

– Да.

– Еще раз прекрасно. Рад за тебя. И какие у вас паны?

– Жить, любить.

– Лёша, это мне ясно. Но планы-то есть или нет? Личные планы?

– Есть. Через два года закончим свои вузы и станем мужем и женой. (Про венчание я не сказал – зачем удивлять или расстраивать работающего в МИДе члена КПСС, хотя человека нормального, к тому же хорошего?)

– И это правильно, – закивал отец, – сначала надо завершить образование. Это тем более касается Петры – она тут иностранка, она должна делать свое дело. Дело прежде всего. Вот кончит консерваторию, а ты свой журфак, а там видно будет. Да – так да, и флаг вам в руки. Вот только... только пока чтоб не возникло проблем.

Я понял. И улыбнулся внутренне, вспомнив разговор с Петрой той нашей ночью.

– Всё в порядке, папа, *этой* проблемы нет и, надеюсь, не будет.

– И я надеюсь. Ведь всегда можно всё обсудить, сынок. Я имею в виду, что с любимой женщиной можно обсуждать всё, даже самое интимное. Кстати, это еще один повод к духовному сближению, поверь. Тут нечего стесняться, ничего не надо пускать на самотек. Именно обсуждать, только деликатно, конечно. Так можно избежать многих проблем. И быть счастливым. Что такое счастье, знаешь?

– О, наконец, интересно!

– Иронизируешь? Зря. Счастье – это, если без выкрутасов, совокупность отсутствия и наличия. Отсутствие проблем и присутствие позитива. То есть не только минус болезни, минус потери, минус голод, война и прочее подобное, но и обязательно плюсы, удачи: любимые люди рядом, друзья, жена дети, семья, возможность работать с душой, или творить, или... – он рассмеялся, – или еще что-то, что дает радость, удовлетворение, не портит настроения. А настроение портят, в том числе, и личные проблемы. Нежелательная беременность, например. Ну, ты меня понял. Замолкаю, всё, закрыли эту тему!

Я кивнул, улыбувшись:

– Хорошо, закрыли. Как говорит Петра, разумею.

Отец был явно удовлетворен.

– Ведь мы с мамой только добра тебе желаем, сам знаешь. Будь умницей, и всё будет хорошо... Кстати, а почему бы тебе не привезти Петру к нам сюда в гости? Надо познакомиться, а как же! Приходите, поужинаем или пообедаем вместе, всей семьей. Да? Конечно! Поболтаем, посмотрим друг на друга. А там, глядишь, станем друзьями. Да? Так что мы ждем вас в самое ближайшее время, только предупреди заранее, а то мама ворчать будет, что не успела чего-то. И смотри, через две недели мы всей нашей группой, с Громыкой во главе, едем в Белград к нашему любимому товарищу президенту Тито, черт бы его дернул, рассказывать ему, почему вдруг сняли товарища Хрущева. Так что не упусти это. Ну, всё, пошел спать, и ты ложись, а то вид у тебя очень усталый... я бы даже уточнил – измотанный. Ха-ха, молодец, спокойной ночи, девушке Петре привет!..

Вот такой папа. Хорошо еще, про партию не вспомнил – что вступать надо, ибо как же без этого пробиваться в международную журналистику. Ладно, это я так, брюзжу по молодости.

Счастливые два года. Лучшие наши годы, наполненные светом, звенящие.

Отец был прав: счастье – это когда никакого негатива и сплошной позитив. Петер и Петра, а до остального нет дела. Верней, кто-то и что-то вокруг есть, но никак не мешает, всё хорошо, спокойно, доброжелательно. И удачно. Так у нас пока. Удачно, беспроблемно.

Конечно, удачно. С родителями хорошие отношения, Петра им нравится, а то, что сын редко ночует дома, уже не волнует. Сын же практически обосновался у Петры, там почти их квартира. «Почти» – потому что она временная и Люшка-соседка. Но время тогда для нас не существовало, а что до нашей Люшки, то она соседка тихая, незаметная, никак не мешающая, а главное, добрая. В общем, есть свой дом. Ну, почти.

И еще: жизнь наполнена музыкой. Петриной музыкой. Она запойно учится, а я повадился пробираться к ней в консерваторию – и слушал. Слушал, как она играет, но не только ее слушал, а и других начинающих гениев. Я уже узнавал гениев состоявшихся – преподавателей, исполнителей. Оборин, Ойстрах, Гилельс, Флиер. С ума сойти! Я их слушал. Тайком и, явно, на концертах. Это Петра меня пристрастила. И хотя не скажу, что стал понимать музыку, разбираться в ней, но я ее полюбил, это точно.

Значит, вот еще что вокруг нас – музыка. Темные глаза Петры сочатся счастьем. Полная жизнь: днем и вечером – музыка (учеба, концерты в консерватории или Гнесинке), а ночью – наша любовь. Полная жизнь. Петра стала женщиной совершенно, у нее – всё! И даже то, что нашими ослепительными ночами, когда мы совершенствовались в искусстве любви, даже то, что она, отдышавшись, бывало, опять принималась говорить о музыке, о консерватории, о своем классе, о том, что сейчас разучивает, это меня не то что не раздражало, а напротив, радовало. Я превращался в меломана. С любимой женщиной в кого только не превратишься, если она сама – чудо, а еще и завлекает в чудо. Музыка – чудо. Музыканты – чудо. Профессора – чудо. А уж Оборин!..

Я уже знал о нем многое. От Петры, конечно: был период, когда она только о нем и говорила. Лев Николаевич – ну, прямо как Толстой, да, мой Петер, прямо как Толстой! Выдающийся пианист, победитель Первого международного конкурса имени Шопена в Варшаве. Еще в 27-м году, Петер, в 27-м! И потом еще много побед. Но заболел. Болезни, да. Поэтому сейчас почти закончил концерттировать. Зато, светилась глазами Петра, зато с головой ушел в преподавание, в нас, студентов! Нет худа без добра. Кто у него только ни учился (далее – перечисление известных и великих)! Вот чуть раньше, до меня, продолжала Петра, знаешь, кто у него учился? Владимир Ашкенази. Э, ты его знаешь? Как это – знаешь Давида Ашкенази, а не Владимира? погоди, вот послушай, известная история, но только тихо, шепотом! Владимир Ашкенази, он победитель Международного конкурса имени Чайковского в 62-м году, а в следующем году поехал на гастроли в Англию и... остался там. О! Молодец, да? Ну, а здесь, то есть у вас в Союзе, его решили... э, как забыть. Был такой – и нет. Поэтому – шепотом! До сих пор в консерватории всякие разговоры, слухи об этом. Смешно, Петер, да? А он – гений! Я слушала его записи на пластинках, нам Оборин давал слушать, ему из Лондона привезли. О, класс!..

Вот, дело дошло до невозвращенцев. И до отверженных. Потому что я поведал моей влюбленной Петре о Давиде Ашкенази, именно о Давиде, об отце ее гениального Владимира Ашкенази, живущего нынче в славном Лондоне. Так вот, сказал я моей любимой, был у нас такой известнейший и любимейший народом

певец – Вадим Козин. Строго говоря, эстрадный певец, шансонье, если по-западному. И аккомпаниатором его был Давид Ашкенази, виртуоз. Его аккомпанемент был не менее известен и любим, чем сам Козин. Но это до войны. А во время войны, говорят, Козин пел перед немцами. То есть давал концерты на оккупированных территориях. Ужас! Однако потом его, спасибо, не расстреляли и даже не посадили, а сослали в еще один славный город – Магадан. Знаешь, моя Петра, что такое Магадан? Эх, дремучая ты женщина, главного у нас не знаешь! Толстого любишь! Но чтобы знать Россию, надо знать не только Толстого, но и про Магадан. Сейчас расскажу.

Рассказал. А еще рассказал, что тот самый знаменитый Давид Ашкенази был аккомпаниатором, помимо Вадима Козина, и других наших знаменитых эстрадных певцов–шансонье – Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко. А откуда я это знаю? А от моего деда. Он пластинки такие покупал, еще до войны, вот я и слушал потом, когда подрос. Эти пластинки до сих пор у меня дома. Вот придешь, Петра, еще раз к нам в гости, дам послушать. Если хорошо себя вести будешь. Это как? Господи, ты не разумеешь как? А, поняла наконец! Молодец, ты понятливая женщина! А красивая какая! Ты сегодня ночью стала еще красивей, чем вчерашней, ей-богу, а Бог не даст соврать, сама знаешь...

Кстати, о Боге. Петра, понятно, была верующей, даже упертой в этом, но при всем при том – слушающей. Она умела выслушать другое мнение, хотя потом спорила жарко. Но, повторяю, слушала. Бывало, даже соглашалась. Мы спорили, и это было интересно. С ней, Петрой, было интересно. А если так (то есть не только секс, даже с красивой и страстной), то это надолго, может быть, навсегда. Так у нас и вышло, хотя *как* вышло, про то потом опять же...

Ах да, я о Боге. Как и не знаток музыки, я не знаток Библии, но начал ее читать и указывал Петре на противоречия. Их там полно, кстати. И отдельных несуразиц. Особенно, когда сравниваешь тексты евангелистов. Или когда наталкиваешься на, мягко говоря, странные речения и толкования. Вот по этому поводу мы с Петрой и спорили. Про «ловцов человеков» я уже говорил ранее. Это про то, как в Евангелии от Матфея. Встретив Петра и Андрея, Иисус сказал: «Идите за Мной, и Я вас сделаю ловцами человеков». Вот кто был Ему нужен! – говорил я Петре. – Не духовные братья, сильные умом, а пойманные им (убежденные им, суггестором) слабые люди, сбившиеся в стадо, подавленные, неимущие и недобрые по сути, легко внушаемые, изначально верящие в чудеса. Вот таких он и *ловил*. А таких много, было и есть.

Ну, Петра знала, что мне ответить. И отвечала. Это понятно, поэтому тот наш спор упускаю, как и прочие подобные.

А вот о самой Библии – забавно. В те годы купить Библию было невозможно, в моем доме ее тоже не было, в библиотеках вряд ли дадут, только в Ленинке или Историчке, и то по спецразрешению или для историков, философов – короче, ученых–специалистов. Узнав об этом от меня еще по письмам, Петра купили мне Библию в Праге и сейчас привезла в Москву. А как купила? Оказывается, в Праге был и есть прекрасный магазин «Советская книга», в котором, рассказывала Петра, чего только нет! В этом спустя три года я убедился самолично – и раскрыл рот. И пожалел, что у меня нет при себе соответствующих денег и что (увы!) я не способен на воровство. В годы, когда не издавали Цветаеву, Мандельштама, Бродского, Набокова и еще полсотни высочайших литераторов, о чем говорить! Нет, вру: их изредка все-таки издавали, но, кроме спецраспределения внутри страны, весь тираж шел за рубеж, вот в такие магазины «Советская книга».

Но то – отдельная песня, а я про Библию. Прекрасное издание на русском языке и с иллюстрациями. Купив, Петра позабыла отодрать приклеенную бирку с ценником и, переведя кроны на рубли, я ахнул: «С ума сошла!» – на что моя красавица царственно отмахнулась: «Папа дал. Это от него, подарок тебе. Отвези твоему Петеру, отвези, так сказал и посмеялся».

Вот тебе и папа, член ЦК, коммунист! Ну да, но тихий католик. «Как мышка!» – вспомнил я Петрину фразу про то, что о вере в их семье – ни гу-гу!

И еще, если о тихих католиках. Оказавшись в Москве, Петра назавтра же отправилась – куда? Понятно, в свой храм. Свой – то есть католический. А я и не знал, что в Москве такой есть. Ну, со мной-то всё понятно, а вот Петра навела справки еще в Праге: есть такой храм в Москве, есть – Храм Людовика Святого Французского, и находится на улице Малая Лубянка (ирония: по соседству со зданием КГБ, но это – моя ирония, а Петре я о том не сказал, чтобы не портить ей настроения).

Короче говоря, поехали туда. Петра почти приказала: «И ты со мной. Хочу, чтоб ты посмотрел, был со мной».

Посмотрел. Симпатично. Хотя странновато снаружи. Классический античный портик с шестью колоннами, а по бокам – две башни–колокольни. То есть никак не готика, а классицизм. Строили сей храм по проекту Жиллярди с разрешения императрицы Екатерины.

А удивило следующее. Мы приехали в середине дня, и во дворе храма, перед портиком, вовсю резвились дети лет восьми-десяти, гоняли мяч по асфальту под присмотром двух женщин. Все они лопотали-кричали по-французски. Выяснилось, это – дети с учительницами из школы при посольстве Франции, их приводят сюда, они посещают в храм и играют во дворе. Очень мило, даже трогательно. И теперь понятно, почему тут всё связано с Францией – и название в честь короля Людовика IX, и католик архитектор, и даже французские детишки.

Поглазев на росписи внутри, я оставил Петру заниматься свои делом (то есть молиться) и выбрался наружу. Галдели дети, по асфальту скакал футбольный мяч, застревая в ворохах кленовый листьев. Было солнечно, мягко, спокойно, и даже детский крик как бы говорил мне: всё спокойно, всё хорошо, за спиной – храм, а здание КГБ хоть близко, но далеко.

8.

Петрина квартира в Собиновском, а вернее, наша с ней квартира, которая под номером 13, это была **хорошая квартира**. В том смысле, что не только уютная, а своя, верная, надежная. Хоть и с соседкой, но всё равно именно такая. Если помните, в романе у Булгакова имела место быть **нехорошая квартира**, а вот у нас – не в романе, а в жизни – была хорошая квартира.

В хорошей квартире под номером 13 обитали хорошие люди. О Люшке уже шла речь, о себе и так всё ясно, а Петра? Петра была полна достоинств (это я говорю без иронии). Еще одно ее достоинство состояло в том, что она – абсолютно свой человек. То есть никак не социалистический, мягко скажем. И это при таком

папе? – вопросим еще раз. «С папой всё нормально!» – как-то поведала мне Петра и, подмигнув, приложила палец к губам – дескать, т-с-с!..

Вот и пришла пора рассказывать именно о новой поре. К сожаленью. Как мы стали закручиваться в воронке жизни, которая происходила за окнами нашей хорошей квартиры. Мы тут жили-любили, по ночам пили свет пьяными бокалами, а там, за окнами, оказывается, крутилась жизнь злой воронкой. Там – это не только в Союзе, это вообще почти везде. В Чехословакии тоже. Об этом, как я говорил выше, Петра намекала мне в письмах (помните, пахло политикой от ее писем – запашок!), но тут, тогда, вдруг возник Китай.

Это как – Китай? А просто: там началась «культурная революция». 65-й год, неявно поддерживаемые компартией Китая и лично Мао буйства банд молодежи, погромы. Короче, хунвейбины. Дикие удары по культуре, интеллигенции и, под гребенку, по негодным или подозрительным коммунистам, даже членам ЦК. К тому же отношения между СССР и Китаем никак не налаживались, хотя с нашей стороны такие попытки делались, особенно после снятия Хрущева, который и испортил эти раскрепасные отношения. Туда ездили наши делегации (это я знал от отца), но ничего не менялось, даже, напротив, обострялось (до событий на Даманском оставалось четыре года, но всё шло к вооруженному конфликту).

Сначала наша печать рассказывала о «культурной революции» скупко (всё-таки братья по лагерю!), но вскоре пошло-поехало. Так со временем мы узнали о трагедиях. Знаменитая китайская певица Ван Фэй, ее унизили, пострадала вся семья. А за что? По миру гастролировала, в СССР приезжала. Потом пианист Лю-Ши-Кунь, победитель Международного конкурса имени Чайковского, затем мировая знаменитость. Ему раздробили пальцы рук. А чтоб впредь не мог играть, гад! А то в Москве играл, гад!.. Ну и еще разные кошмарные события.

Но это – там, а при нас-то жила-была наша Люшка, Лю Тао Ци. Правовверная Люшка, и так мышка, совсем затихла. Ни слова. А мы с Петрой и вовсе боялись о чем-то выпрашивать. Мы боялись за нашу Люшку. И верно. Прошло немного времени, ее вызвали в посольство и приказали собираться домой, на родину. Потом мы узнали, что Китай постепенно отзывает всех своих студентов и спецов, работающих за пределами своей страны, особенно из ненавистного СССР...

Это случилось утром. Люшка оказалась дома. Дома, а не в консерватории на учебе, как бывало всегда по утрам. Я этого не ожидал и вышел из нашей комнаты в одних трусах. В кухне – Люшка. Я обалдел (сейчас она в обморок брякнется!) и, извинившись, ретировался в комнату. Потом все вместе сели завтракать, пить чай. Люшка сказали лишь, что, сейчас опять едет в посольство на Мичуринский проспект, теперь за билетами на поезд домой, в Шанхай, а сам отъезд послезавтра. А консерватория? А что консерватория, пожала плечами Люшка, это до свидания. И заплакала. Петра обняла ее, стала гладить по худенькой спине, даже целовать. Я сказал: «Мы поможем тебе собраться, а послезавтра вызовем такси, погрузимся и проводим тебя до поезда». Люшка замахала руками: «Нет-нет, товарищи, нельзя, я сам, сам, нельзя вас видеть вокзал, нельзя!»

Послезавтра стали собираться. Это вышло быстро, за пару часов, потому что вещей оказалось немного. Два баула, несколько пакетов с нотами, скрипка. Еще пакет с большим плюшевым медвежонком – наш с Петрой подарок на прощанье. Вышли на улицу, шел снег, холодно, поэтому теплое пальто (основная Люшкина габаритная вещь) было на хозяйке. Подъехало такси. Я загрузил баулы и пакеты в багажник, а футляр со скрипкой уложил на заднее сиденье. Потом всучил Люшке деньги на такси, ибо знал, что посольство выдавало своим студентам сущие крохи. Ну, вот и всё. Знали, что больше никогда не увидимся (так и вышло). Теперь Люшка

не плакала, молча расцеловалась с нами, и вообще ее лицо выглядело окаменевшим.

Прощай, Люшка, незагоревшаяся звезда скрипичного исполнительства! Дай тебе бог быть живой и с целыми пальцами, а мы будем тебя помнить, нам тоже кое-что предстоит, мы этого еще не знаем, но именно так...

И с той зимы (а шло начало 66-го) мы с Петрой остались одни в нашей хорошей квартире. Одни, потому что после Люшки к Петре никого не подселяли вплоть до ее отъезда в Прагу. А это еще целых полгода. И в эти целые полгода мы с ней жили только вдвоем. Плотно жили, поскольку я фактически переселился к ней. Жил с родной женщиной под одной крышей. В общем, муж с женой, только не обвенчанные и без штампов в паспортах.

Это называется, нет худа без добра. Всё уравновешено в нашем мире: там – «культурная революция», а здесь – здесь, благодаря такой напасти, можно жить вдвоем под одной крышей. Чудеса! То ли больные чудеса, то ли нормальные. А что? – больное и нормальное у нас неразделимо.

Значит, вот такая жизнь, позитив с негативом (это к вопросу о счастье). Позитив – это наши солнечные ночи, а вечерами или днем в выходные мы успевали выполнять, так сказать, культурную программу. А что – в Китае «культурная революция», а у нас с Петрой культурная программа.

Ходили в музеи, кино, театры, не часто, но все-таки. Отец достал нам билеты на Таганку, тогда гремевшую по Москве, посмотрели «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир» и особенно понравившиеся Петре «Антимиры» Вознесенского. На одном из этих спектаклей Петра шепотом спросила, кивнув на сцену: «То е кто? Зовут как?» Оказалось, то е – Высоцкий. А как это она его выделила среди остальных? А ведь его песен мы тогда еще не знали.

Вот такой позитив. Теперь, что ж, о противоположном.

Ну да, началось с «нашего» Китая, с Люшки, теперь – Чехословакия, считай, тоже наша, потому что всё через Петру, ее боль.

Сначала она намекала о том еще в письмах, а сейчас – напрямую, нашими ночами. Это были долгие разговоры, долгие ее рассказы, поэтому попытаюсь пересказать суть.

Речь шла, ни много ни мало, об «узнике совести», первом в тогдашней Чехословакии. Кто он? Пражский архиепископ, кардинал Йозеф Беран. Естественно, я и понятия не имел, кто это такой (ах, нет, вспомнил, как-то Петра упоминала эту фамилию – дескать, архиепископ, который, к сожаленью, нас не обвенчает). Вот, что я узнал от нее, а она – от своего отца (тайно, тайно!) и от друзей-приятелей.

Сначала Беран был профессором богословия в Карловом университете в Праге. Потом – оккупация немцами, закрыты все чешские университеты. Беран, избранный уже епископом, открыто протестовал, и в 40-м году нацисты арестовали его, отправили в Германию. Несколько лет провел в концлагере Дахау, это когда уже шла Вторая мировая. Но выжил. В 45-м – освобождение. Вернулся в Прагу. Вскоре его избрали Пражским архиепископом. Но в 49-м – новая оккупация, тихая, советская. Беран – опять открытый противник нового режима. Тогда же арестован. Почти тринадцать лет в заключении, в тюрьмах, причем его переводили из одной тюрьмы в другую, чтобы мировая общественность и Ватикан не отыскивали его следов и не могли как-то связываться с ним. Вот тогда его признали «узником совести». Все-таки в 63-м году под давлением из-за границы его выпустили из-под

тюремного ареста, но поместили под арест домашний, под неусыпный надзор в доме под Прагой, причем въезд в столицу был строго запрещен. Ватикан присвоил Берану звание кардинала и добивался от властей Чехословакии, чтобы ему позволили выехать из страны в Рим. И вот это произошло уже сейчас, в прошлом году, 65–м: кардиналу Берану наконец дали разрешение на выезд в Ватикан (со слов отца Петры был достигнут дипломатический компромисс: Беран может выехать в Рим ценой высылки из Чехословании и лишения гражданства). Теперь он там, в Ватикане, с условием никогда не приезжать в Чехословакию и не обращаться с просьбой о возвращении гражданства...

Если вернуться к тем ночам в нашей хорошей квартире номер 13, когда Петра рассказывала мне об этом человеке, легендарном не только среди католиков, но, по ее словам, среди всех нормальных чехов, она была эмоциональна, и не раз я видел слезы в ее глазах.

– Он уже после Дахау стал национальным героем, символом чехов! Он один из первых выступил против коммунистов – за права человека! Он боролся за сохранение у нас Католической церкви! Ведь коммунисты хотели всё реорганизовать, убрать епископат и избавиться от влияния Папы, Ватикана. А он не давал! Он – бельмо на глазу власти! Он оплот веры и наша совесть – совесть всех, верующих и атеистов, честных людей!

Я не удержался однажды:

–И твоего папы тоже?

Петра этот удар выдержала.

– Мой Петер, – вздохнула она, – я тебя люблю, и папу люблю, и чтобы ты его любил, тоже хочу, потому что мой папа... э, как это сказать?... мой папа всё понимает, всё, Петер, но что он может сделать? Он коммунист, но... он честный человек, он католик, он болеет за кардинала Берана, он даже что-то говорил за него там, **там**, – повысила она голос, – разумеешь? И мы с мамой потом боялись, что его... э, нэ, не арестуют, а прогонят из партии. Ох, повезло!..

Проходило некоторое время, и Петра вновь возвращалась к этой теме. Это ее терзало.

– Мне рассказывали мои друзья по церкви. Это про те годы, когда Беран был под домашним арестом. Не ведаю, как у вас, а у нас... у нас, если католиков под арест, то их держат вместе, то е в одном месте. Там и епископы, и аббаты, и просто кто верует в Бога. Так им там легче, конечно, они вместе. А Йозеф Беран не так, он один, с ним только две или три монахини. Так вот, говорили мне, что люди из StB... э, то е у нас значит Служба Безопасности, вот, эти люди иногда... как это?... в пищу сыпали ему... да-да, поняла, подмешивали, да, всякие лечиво... лекарства, которые... э, возбуждают, да? Да, у мужчины чтобы... э, сильное желание быть с женщиной, разумеешь? А зачем? Чтобы он с монахиней. И заметить это! Ну, компромат то е! И тогда – опять тюрьма. Ха-ха, он Беран – нэ! То е нет! Он всё разумел. И целибат свято знал. Он всё делал верно. Он с Богом всегда. А коммунисты – они без Бога, то е слабые злые люди. Пришли нам социализм, и вот теперь так.

Помню, я спросил, выслушав это:

– Ты нас ненавидишь?

Петра поняла и, кажется, даже испугалась.

– Петер мой! Ты зачем так? Есть твоя страна, и она хорошая. И красивая. А есть люди, которые без Бога, и совести, и души. Но они сильные злым умом. Они взяли власть и... э, делать дураками весь народ. Вот и всё, мой Петер. Как это – я ненавижу русских, Россию? Нэ, нэ! – И добавила, обняв меня: – Ты это... ты со мной? Мы вместе? Ты меня сумеешь – и про Йозефа Берана тоже?

Я всё разумел. И про Берана тоже. Но главное, я любил эту женщину. Я ж говорил выше: если она красивая и совершенно родная, то как иначе? Вот только чтоб ей больно было – не хочу! А как это сделать, чтобы только свет, только любовь, только она и я? Не знаю. Скорее всего, это невозможно.

Тогда мне, как и Петре, было двадцать два года. Но то, что «это невозможно» я уже понял.

В то лето мы окончили учёбу: я – свой журфак, Петра – консерваторию. Наши два года вместе подходили к концу. Петра возвращалась в Прагу, надеясь устроиться в столичную филармонию, концерттировать на родине, а потом, даст Бог, и за границей. Все основания к тому у нее были.

А я? Я пока не определился. Долгие разговоры с отцом на эту тему давали лишь наметки. Была у меня сладкая мысль попасть в Прагу в наш корпункт ТАСС, чтобы работать и жить при моей Петре, однако папа считал, что пока, то есть сразу после окончания журфака, это почти невозможно, тем более не для члена партии. Вот вступишь через полгода-год, тогда я и начну долбить этот канал, повторял он. М-да, и как? Значит, попасть к Петре, быть с ней, любить, обвенчаться в соборе Святого Вита, как она мечтала, возможно только так? Вот тебе и выбор, товарищ Симонов-младший!

Ладно, оставим это на потом. А пока я еще с Петрой. Еще целый месяц. Вызы позади, теперь отпуска. Конечно, едем вместе. Куда? Она так хочет к морю – значит, едем на юг. Решили – в Крым, конкретно, в Ялту (к Чехову, доложил я Петре). Я там еще не бывал, она, конечно, тоже. Едем дикарями, снимем что-нибудь. Отлично, улыбнулась Петра, к морю и Чехову, дикарями, Петер и Петра – то е краснэ! (прекрасно!).

Поехали, точнее полетели. Потом от Симферополя – на долгом троллейбусе до Ялты. Петра глядела в окошко, не отрываясь, особенно после Алушты, когда покатали верхом вдоль берега моря. А в Ялте – повезло! – сразу сняли комнатку в пяти минутах ходьбы от главной набережной. Небольшой домик, наша комната – по деревянной лестнице на второй этаж, под самую крышу. Тенистый садик, там стол с плетеными креслами под листвой акаций и фруктовых деревьев. В общем, действительно прекрасно.

Началось праздное времяпрепровождение. Море, пляж, прогулки по Ялте, поездки в Массандру и Никитский ботанический сад, Алупку, Симеиз, Мисхор. Еще, конечно, музей-квартира Чехова, посещение храма (к радости Петры, в Ялте на Пушкинской улице оказался католический храм, название которого сейчас не помню – что-то связанное с Девой Марией), еще фуникулер, вечера в кафешках на набережной. А по ночам наша любовь. Когда после этого выбирались в сад, глазели на звезды. Таких звезд Петра никогда не видела, даже в Сочи, где была с родителями после девятого класса. Еще мы читали, днем, после обеда, у себя в комнатке. В основном, Чехова. Хорошо!

О предстоявшей скоро разлуке старались не говорить. Но в один из дней вышло так.

Мы лежали на пляже. Петра загорала мгновенно – вот и теперь стала почти черной. Когда она шла в купальнике, балансируя на крупной гальке, мужики на нее оглядывались. Это понятно. И я сам не мог наглядеться. Вот и сказал:

– Ты такая красивая в купальнике, я не устаю любоваться тобой.

– Ай, Петер, ты что, не привык ко мне в нашей квартире за два года, а еще и здесь? Посмотри, сколько тут женщин, все такие красивые!

– Да, смотрю. Но красивей твоего тела тут нет. Как я буду без тебя?

– Да, так. А я? Как я буду без тебя? – И вдруг, почти шепотом: – А ты... ты не сыт мной?

– Нет, я голоден, я всегда хочу тебя.

– Мы с тобой так много это делали, два года – о! – и здесь, а всё равно. Да?

– Да. – Я усмехнулся. – Мы с тобой вели регулярную половую жизнь, как у нас говорят.

Она поморщилась:

– Ой, плохо говорят! Нет, пусть так говорят, но у нас с тобой не то е. У нас... Когда ты... когда ты только... в самом начале... в меня... – Она никак не могла подобрать нужные слова, и я подсказал:

– Когда я только вхожу в тебя...

– Да–да, так! Когда ты толькоходишь ко мне... в меня, тыходишь через то е в мою душу. Разумеешь?

Я только покачал головой, смолчал. Ведь она повторила вслух то, о чем я однажды подумал. О том, что это – туннель, через который я стремлюсь в ее душу, стремлюсь и проникаю в ее душу, и так сотворяется наше родство, а такое надо лишь избранным. Любовь для избранных. Петер и Петра.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1.

В середине августа я проводил Петру в Прагу. Завершилась наша первая жизнь. Она обняла семь лет – с пятнадцати, когда мы познакомились по переписке, и до двадцати двух, когда, после двух лет жизни в Собиновском переулке, мы провели месяц в Ялте.

И что эта первая жизнь? Можно сказать так: несмотря на долгие периоды разлуки, она была прекрасной, если на минуточку закрыть глаза на последние события – историю с Люшкой и (заочно) с кардиналом Бераном.

Теперь начиналась новая жизнь, вторая, и начиналась она без Петры.

Опять письма и – хоть изредка – телефонные перезвоны. Что я знал? Петру приняли в Пражскую филармонию. Конечно, удача. Престижно. Да и место отличное: самый центр, в Старом Граде, почти на набережной Влтавы, главный зал там – знаменитый Зал Дворжак, где ежегодно проводят фестивали «Пражская весна» (это два слова в кавычках, но совсем в ином значении, нам всем запомнятся потом на

всю жизнь!). И, главное, сам филармонический оркестр, в число исполнителей которого вошла Петра. Теперь – работать, работать, репетировать с оркестром, а еще готовить личные выступления, свои программы для концертов. В общем, забот полно.

«И то е хорошо что много дел, – писала Петра, – так я о тебе мой Петер буду хоть немного меньше тосковать. А то вэлми мучительно. Так привыкла к тебе что ты рядом каждый день». (Запятые по–прежнему отсутствовали.)

Я тоже вэлми тосковал. А вот дел было куда меньше. Меня взяли в «Известия» (конечно, отец поспособствовал). Казалось бы, удача, лучше не придумашь, но как бы не так: я оказался в отделе писем. Та еще тягомотина! Папа успокаивал: это этап, начальный этап, его надо достойно пройти, а впереди – новые рубежи, интересная работа, поездки. Если, конечно, в партию вступишь. Ты еще не забыл свою мечту – корпункт ТАСС в Праге?

Не забыл. Более того, терзался этим постоянно. Что за дьявольский выбор: либо партия, но тогда я в Праге с Петрой, либо не мараться, но тогда жить без Петры в Москве? Ну и как?

Отец не педалировал, а только кивал, улыбаясь. Это означало: зрей, зрей, выбирай главное, а это, как он однажды сказал, благополучие. А оно – что? Нет, не большое пузо от сытости, дача, машина и прочее, а семья, любимая жена и дети. Но их необходимо обеспечивать. Тебе обеспечивать, мужчине! А партия – это лишь способ, что ж, у нас здесь – так.

Дьявольский выбор. Или это я такой идиот?..

Тайн от Петры у меня не было, к тому же интересно, что она скажет. Даже не то что интересно, а необходимо.

Я написал ей обо всем, с подробностями, хотя в принципе она знала о стоявшем передо мной выборе, мы это обсуждали летом в Ялте. Тогда Петра покачала головой, повздыхала: «Петер мой, бедный мой Петер, я буду молчать, это ты, ты, это решать тебе, а я всё твое приму». Теперь она ответила так (запятые здесь ставлю сам):

«Помнишь, мой Петер, я тебе про мою бабичку рассказывала, про Кветославу из Брно? Чудная моя бабичка Квета! Она от Бога и с Богом. Она меня всему учила, и про любовь, про девство, помнишь? Прощать надо, если любишь, так говорила мне. Как Господь наш Иисус, когда воскрес, простил Петра, хотя тот трижды отрекся от него, и опять его, Петра, приблизил, и сделал апостолом. Простил! Я тебе тоже простила, помнишь? Но вот это... Вот мой отец. Он с коммунистами, член ЦК, но он хороший человек, он тоже с Богом, он наш. А бабичка Квета не любит его. Зять мой, говорила мне, грешник. Отец он тебе хороший, а мне – грешник. Он **товарищ Новак!** Он не пан Новак, он **товарищ!** А то грех.

Всё, мой Петер. Я тебе ничего не говорю, не советую. Это твое, решать тебе. А я – я твоя женщина, невенчанная жена, поэтому приму всё».

Вот так начиналась моя вторая жизнь. С дьявольского выбора. С решения.

Я принял его. Бабушка Кветослава права: это – грех. Однажды я согрешил, изменив Петре, другого греха не будет. Пока она со мной. Пока **вообще** со мной.

И кто знает, не будь Петры тогда вообще со мной, то, возможно, я и вступил бы в партию. А с Петрой – нет. Понимала ли она, что это благодаря ей? Что я упустил возможность уже вскоре работать в Праге и быть с ней, именно потому, что у меня есть она – такая!..

Отцу я не сказал о принятом решении – делал вид, что еще думаю. А Петре сказал, точнее, написал. Не так выпендрено, как славословил выше, а просто.

«Ты умеешь прощать. Вот и прости меня. Я буду без партии – значит, ты без меня, а я без тебя. Но пока. Потом мы что-нибудь придумаем. В конце концов, есть же реальные решения. Например, ты приедешь в Москву, выйдешь за меня замуж. Как-то всё у нас сложится, и с домом, и с твоей фортепианной деятельностью. Так?»

Она ответила: «Так».

Через год я оказался в Праге. Но не потому, что, вступив в партию, стал работать в корпункте ТАСС (эту тему мы закрыли).

Впервые – в Праге, опять с Петрой. Лето 67-го. Мой первый отпуск.

Как оказался там? Через ЦК компартии Чехословакии. Смеюсь? Да нет, именно так: помог отец моей Петры – член ЦК. После обсуждений с дочерью, как поспособствовать моему приезду в Прагу, пан Густав переговорил с кем-то, потом позвонил кому-то в Москву и попросил, чтобы мне выдали визу, а приглашение для меня он организует. Так и вышло, визу на месяц я получил, хотя и пришлось собирать всяческие необходимые для выезда бумаги, брать в «Известиях» характеристику и прочее.

Короче говоря, я в Праге. И главное, мы с Петрой вдвоем под одной крышей. «Ты что мой Петер какая гостиница! – писала мне она. – Моя подруга уезжает на отдых я уже договорилась будем жить в ее доме. То е вэлми удобно: Велесловинова улица недалеко от Карлова моста у метро «Староместска» в самом прекрасном центре!!! А к моим будем приходить в гости. А и что – они уже знают что мы как почти муж и жена».

Да, как почти муж и жена. Я не видел «почти жену» почти год, после того как проводил ее на родину после нашей Ялты. И вот – увидел. Еще похорошела! Помните, я писал, что она достигла своего пика, пика своей красоты, где-то к двадцати пяти годам. Ну вот, а сейчас ей было двадцать три. Прямо Анук Эме, честное слово!

Что говорить о наших ночах и о впечатлении от Праги! О ночах – тут всё ясно, а что до Праги, то я в нее не то что влюбился – я был очарован ею, покорен. Где мы только ни ходили, ни ездили! Кстати, ездили на служебной машине пана Густава, которая утром отвозила хозяина в его ЦК, а после того была в нашем распоряжении до шести вечера (очень благожелательно с его стороны!). Конечно, Петра привела меня в свою Филармонию, знаменитый «Рудольфиум», я посмотрел на пустующий Зал Дворжак (дело было днем), а потом она повлекла меня в маленький, и тоже пустой, репетиционный зал с роялем, и, усевшись за него (а я – в кресле единственным слушателем), полчаса играла Шопена. «Почему именно Шопена? – ответила. – А он и есть любовь, мой Петер, самая чистая. Серебряные трубы, поющие в облаках».

Ну а еще храмы, как же без них! Собор Святого Вита, где, как мечтала Петра, мы обвенчаемся («Скоро, скоро! Вот постой немного, я схожу в задние комнаты к священнику, моему крестному отцу и духовнику, и скажу ему, что мы готовы. Ты готов, мой Петер? Ну, то е шучу, смеюсь пока! Потом схожу... А вообще-то архиепископ Пражский, им до сих пор наш Йозеф Беран, которого лишили гражданства и теперь он в Риме, в Ватикане. Теперь он кардинал. Я тебе всё про него рассказывала, помнишь?»).

Помню, помню, я всё помню, всё, что связано с тобой, моя Петра. Куда теперь мы тебя повлечешь? А, вот!

Вот – это, конечно, собор Девы Марии. Ну, можно ли без Святой Девы, это ясно! Петра как вошла со мной в предел, так сразу опустилась на колени. И стала креститься, и шептать что-то на своем языке. Потом повлекла за свечками. Зажгли, устали их в подсвечники у алтарной части. Как раз зазвучал орган, вознося звуки под высокие готические своды. У меня мурашки забегали по спине, хотя в тот день было довольно жарко. Огранные реки, текущие вверх. «Это Бах, Бах, – зашептала Петра, – знаменитая «Токката и фуга ре минор», мой Петер. О, волшебство! Как же в Бога не верить после то е, а?»

Вышли наружу. Теперь Петра рассказывала: «Этот храм правильно называется Собор Святой Девы Марии перед Тыном», или Тынский Храм. Тын? Это... ну, то е огороженное место, плац с огородами. Самый готический храм в Праге. Три нефа, видишь? А башни какие! Их высота семьдесят метров, о! Строили долго, как и Вита, с середины 14-го до, кажется, начала 16-го, но Вита строили еще дольше. А орган здесь – самый старый в Праге, не хуже, чем у Вита. Устал? Ну, тогда поедим сейчас к...»

Куда-то мы поехали еще. Назавтра – еще. Например, на Бертрамку, место, где дом, в котором всегда останавливался Моцарт, когда приезжал в Прагу. Вообще Петра жила музыкой – Шопен, Бах, Моцарт, другие. Музыка – это была ее жизнь. Ну и наша любовь, конечно. И Прага. Ее Прага, моя. Моя – в смысле, мною разглядываемая и полюбленная. Моя – с Петрой за руку, как когда-то впервые мы ходили по моей Москве. Давно это было, восемь лет назад. Еще не целовавшие друг друга влюбленный мальчик с девочкой-иностранкой, только что окончившие, каждый у себя, девятый класс. Давно...

Что еще особо запомнилось тогда? Два разговора – с паном Густавом за обедом и с Петрой в последнюю ночь.

Пан Густав, когда супруга, улыбочатая пани Власта, прибрала посуду на столе и отправилась в кухню готовить кофе, а Петра в соседней комнате с кем-то говорила по телефону, пан Густав решил, что теперь самый момент для интимных вопросов.

– Алексей, какие у тебя планы на будущее?

– В смысле работы?

– Ну и так, да. Ты говорил, что в твоих «Известиях» тебе скучно. И что?

– Я хотел, верней мечтал, попасть в пражский корпункт ТАСС, чтобы быть здесь. Здесь и с Петрой. Но не выходит, к сожаленью.

– Почему так?

– Во-первых, я еще начинающий журналист, а место за границей надо заслужить.

– Это понятно. Но у тебя есть отец... э, ответственный товарищ в Министерстве иностранных дел, он что, не поможет? Ему не откажут, я полагаю так.

– Сейчас откажут. Потому что я не коммунист, не член партии.

– Ах да! Ну и что – вступи! Будешь жить в Праге несколько лет. Петра будет рада. Да и мы с пани Властой тоже.

Я вздохнул. Что, рассказывать правду? Что не могу я, не могу!

И рассказал. Пан Густав слушал внимательно и, показалось, безразлично. Зря так показалось, я ошибся. Просто мой собеседник умел держать себя в руках. И

даже не среагировал на то, что к нам вошла Петра, закончив телефонный треп. То есть не переменял тему

– А, дочка моя, садись с нами! Вот твой Алексей говорит, что не может вступать в партию. Что ты думаешь?

Петра не смутилась:

– Это решение Алексея, Петера. Если Петер так, то я рада.

– Но если он так, то он будет не в Праге, не с тобой?

– А так я не рада. Но рада, что Петер так решил – не в партию.

Пан Густав развел руками:

– Ты настоящая пани! Ты – никакой логики!

– Отец, то е хорошо, что я настоящая пани. Я выбираю пана, и когда выбрала, то тогда – какой он есть. А он есть вэлми хороший, настоящий. Я не хочу с партией между нами. Э, прости, отец, ты знаешь, что я всё разумею – и про тебя, и вообще, но ваша партия...

Пан Густав поднял палец – дескать, стоп! И вдруг тяжко вздохнул:

– Ты, Петра, настоящая, да. Ты всё понимаешь, и я всё понимаю. Я думаю, что скоро придут перемены. – Поскольку мы с Петрой внимательно молчали, он продолжил, но тихо и выжимая из себя короткие фразы: – Да, перемены, у нас, будут перемены... Э, так у нас, а в твоей большой стране, Алексей, не похоже. Но у нас... у нас возможно, возможно... Э, товарищ Новотный... его нежелание менять свой авторитарный стиль... Сразу президент и секретарь ЦК... Обидел словаков... Я знаю, зреет оппозиция в нашем ЦК... Готовится пленум... Думаю, он будет уже осенью... Если русские коммунисты из Кремля не будут давить... э, вмешиваться, то... Хотя, боюсь, Новотный станет звать на помощь Москву... Да, в ЦК есть люди... Александр Дубчек, например. Он, да, словак, но... Вокруг него есть люди, да... Всё возможно. Хотя...

Он замолчал. И Петра задала главный вопрос. Для семьи главный:

– А ты? Otce, jste kdo? s kym? (Я догадался – ну, что-то типа того: отец, а ты с кем?)

Пан Густав усмехнулся, потом глянул на дверь:

– С Дубчек. Матке нэ ховорит! – почти шепотом ответил ей, и я опять понял: матери не говори! – Потом продолжил обычным тоном: – Я очень хорошо! – И уже в сторону кухни, громко: – Власта, драхи, где наш кофе, мы ждем, ждем!

Пани Власта, названная «дорогой», не заставила себя ждать...

По дороге, когда мы возвращались из гостей к себе на Велесловинову улицу, Петра сказала:

– Отец прав, зреет, зреет. Молодежь, собрания тихо... то е тайно. Разговоры, разговоры. И у нас в Филармонии тоже.

– А ты? – задал я вполне уместный вопрос. Типа того же Петриного: а ты с кем?

– Я? Я с ними, со всеми нормальными. Как отец с этим... э, то е, Дубчек, да?

– Вроде да.

– Вот и я. Все нормальные хотят, очень.

– Может, ты не очень? Это не опасно?

– А Его Преосвященству Берану было не опасно? Опасно. И с немцами опасно, и потом с коммунистами. И что? Как нам иначе? Если с Богом и совестью.

В ночь перед моим отъездом мы не могли заснуть очень долго, всё говорили и говорили. Завтра придется расстаться, и надолго. Мне вдруг показалось, что теперь нам не увидаться уже никогда. Ну, если не никогда, то много лет. Как-то вдруг показалось. Какое-то мерзкое предчувствие. А отчего оно, не понять.

А тут еще Петра заплакала. Это было не в ее характере. Помню, я видел слезы в ее глазах, лишь когда мы жили в нашей хорошей квартире в Собиновском – тогда она рассказывала мне о том самом несчастном архиепископе Йозефе Беране. И вот – сейчас.

Я обнял ее горячее голое тело, стал целовать лицо, слизывая слезы на щеках, в углах глаз. Она успокоилась. И заговорила тихо:

– Я не боюсь никогда, я сильная, а теперь страшно. Не понимаю – почему? Как это по-русски? Тоска, да. Мне хорошо, а тоска. А хорошо, знаешь, почему? Отец хороший, он понял, что пора, пора, что надо менять, стал с ними... ну, как он сказал, оппозиция. А страшно. Если с ним что... И ты, мой Петер. Ты не стал с партией, ты хорошо решил, ты как я... но и страшно опять: ты сгубишься там, а я тут без тебя.

– Чепуха! Я не сгублюсь, проживу без партии, а ты без меня не будешь, ты приедешь ко мне или я к тебе приеду, и мы обвенчаемся. И пошли они все к черту!

Петра зашмыгала носом, потом усмехнулась:

– К черту – то е хорошо. То е к дьяволу. – И добавила после паузы: – А если само время есть дьявол, то как?..

Этих ее слов я не забуду никогда.

2.

Где-то уже осенью (кажется в октябре–ноябре) отец наконец всё про меня понял. И сказал, вздохнув:

– Ты балбес! Ты хороший человек и балбес одновременно. Это две стороны медали твоей личности. Интересно, как твоя Петра относится к этому?

Я улыбнулся:

– Она считает, что обе стороны моей медали вполне положительные.

– А, вот как! Ну, вы точно – два сапога пара.

– Вот это верно!

– Значит, она приняла твое решение не оказаться в Праге?

– Ты ведь прекрасно понимаешь, что она приняла другое мое решение, которое для нее главнее.

– Да понимаю, черт вас дери! – Отец отмахнулся: – Ладно, сменим тему... А кстати, знаешь, в Чехословакии какая-то буза, но исподволь. Что-то зреет. Или так, пустые сполохи, возможно.

Я насторожился. Из недавно полученного письма от Петры я знал, что в Праге что-то происходит.

– И что ты знаешь?

Отец заложил руки за голову, потянулся.

– Что я знаю? Да толком немного, почти ничего. Новотный всем надоел, это давно ясно. А сейчас... Они созвали пленум ЦК, но ничего не могут решить, договориться. Раздрай там, вот что известно. В их ЦК раздрай. И, говорят, народ зашевелился... А этот их ЦК, этот долгий пленум – ну, как конклав в Витербо по избранию Папы: сидят, говорят, спорят, каждый своё, своего кандидата, а единого выбрать не могут.

– А мы? То есть что Москва? (Законный вопрос с моей стороны.)

– Мы? – Отец хмыкнул. – Тут Новотный тоже всем надоел. Поэтому смотрят, выжидают. Нет, конечно, негласные консультации идут и разведка с осведомителями работают, но... В общем, пока выжидают наши товарищи из Политбюро. – И тут вспомнил: – Интересно, а наш знакомый член ЦК в Праге, товарищ Густав Новак, он что? Не знаешь от твоей Петры?

Какие тут тайны от отца? Я поведал ему о нашем разговоре с паном Густавом за обеденным столом. И о том, что потом мне говорила Петра. Отец покачал головой:

– О как! Вот тебе и папаша Густав! Значит, он в оппозиции к нашему дорогому Новотному! Молодец! Хотя это риск, ой какой риск, сынок!.. Кто, говоришь, там заводилой – некто Дубчек? Да, слышал о таком, мне рассказывали в МИДе. Странно, он словак.

– Это что, имеет значение?

– Почти да. Чехи предпочитают, чтобы Чехословакией руководил чех.

– А, ясно!

– Ясно, ясно! – передразнил отец. – Тебе всё ясно! Лучше Петре напиши, и посоветуй, чтоб она не совалась в эти дела, всякие народные волнения. Революционерка! Пусть на рояле играет, выступает с оркестром, вот это ее дело! Понял?

– Напишу, – пообещал я. – Написать–то я напишу...

– Ладно! – Отец поднялся из кресла и сказал, идя к двери из моей комнаты: – А если вернуться к нашим баранам, а точнее, к одному барану, то на днях тебя вызовут к главному редактору твоих «Известий», будь морально готов.

Я чуть не ойкнул:

– Это зачем?

– За тем, что надо что-то делать с молодым, но беспартийным журналистом.

Через два дня в мой отдел писем позвонили из секретариата газеты и сказали, чтобы товарищ Симонов поднялся к заму главного. А почему не к главному? – усмехнулся я про себя.

Этого самого зама мне неоднократно приходилось видеть на общих собраниях коллектива и всяких летучках. Теперь впервые мы оказались один на один. Нормальный мужик, с юмором, прошедший по всем ступеням журналистской

карьеры, а нынче в основном администратор. Разговор занял минут пять. Если коротко, меня переводили из отдела писем в отдел культуры. Это хороший, нормальный этап для вас, объяснил зам, закуривая, это новое для вас общение с интересными, творческими людьми, искусство, культура, гастроли и прочее, поездки по стране, всякие театральные и киношные премьеры, фестивали, наши и зарубежные... в общем, разберетесь, вам поначалу всё объяснят – главное, какое у вас будет перо, интересное, бойкое, умное или нет. В общем, вперед, успехов, надо расти, расти!..

Так я оказался в отделе культуры, где мне надо было расти. Да нет, это неплохо, решил я, Петра – это тоже культура, буду про нее писать: талантливая пианиста из социалистической Чехословакии, к тому же молодая красавица, выпускница Московской консерватории, ученица Льва Оборина, солистка национального оркестра всемирно знаменитой Пражской Филармонии, выступит (где? ну, там-то, там-то) с программой из произведений... (далее великие фамилии)...

Поначалу я не слишком беспокоился за Петру. То есть беспокоился, конечно, но полагал, что потихоньку всё уляжется – наверху погрызутся, кого-то снимут, кого-то назначат, и на том процесс завершится. Однако после того как в течение этой осени и зимы (уже 68-го) мне стали известны некоторые детали, настроение изменилось. Известия о «деталях» поступали от Петры. Странно, эти ее письма не перлюстрировали. Что же дремлет наше родное КГБ?

Вот что я узнал. Обстановка в Праге накаляется. Город взбудоражен, особенно после Съезда писателей (при чем тут писатели, я тогда не знал, а Петра не объяснила). Начались студенческие волнения. В учреждениях культуры – тоже («У нас в Филармонии разговоры разговоры крики обсуждения, – писала Петра. – Мы ходили на демонстрацию но пока нас не трогают»). Но вскоре – тронули. Началось. Студенты пошли с песнями по городу, и перепуганные власти стали давить их машинами, загоняя людей в тупики и буквально размазывая по стенам.

Далее. По радио и в газетах – призывы к реформам, причем удивительно, что это исходит в основном от коммунистов. Но отношение к русским пока доброжелательное.

Далее. Теперь всем ясно, что разгон демонстраций и нежелание менять авторитарный стиль правления, и (вот еще что!) игнорирование требований словаков о введении федеративного устройства Чехословакии – всё это создало в ЦК сильную антиновотновскую оппозицию. Основное требование – прекратить совмещение двух и более должностей. То есть речь о Новотном.

И вот финал (промежуточный?): в январе 68-го Новотный снят с поста первого секретаря ЦК КПЧ, а новым первым секретарём избран... да-да, тот самый Александр Дубчек (хотя он и словак).

Эту последнюю новость я узнал еще раньше – не из письма Петры, а по нашему ТВ. Потом и от нее. Отец тоже всё знал. Это невероятно, но это так, сказал. Значит, пан Густав верно просчитал, чувствовал на кого ставить. Я не согласился: это не расчет, это он искренне, по зову души. В ответ отец усмехнулся: ну да, коммунист и католик в едином обличии! Но все-таки добавил: дай им бог удачи, хотя, боюсь, наши далеко их не отпустят.

Печально, но тут отец как в воду глядел. Но еще было время.

Петра сообщала: Новотный, оставаясь президентом страны и членом ЦК, повсюду препятствует проведению намеченных реформ, поэтому не только среди народа, но и в ЦК требуют его отставки уже и с поста президента.

И вот еще, писала она в новом письме (оно тоже спокойно дошло до меня): нарастают антисоветские настроения. Курьезный, но показательный пример: 15 февраля на Олимпийских играх в Гренобле хоккеисты Чехословакии обыграли сборную СССР, и это превратилось во всеобщий национальный праздник.

И наконец, финал (тоже uznанный по ТВ): 28 марта 68-го Новотный подал в отставку со всех постов. Новым президентом стал Людвиг Свобода.

Так начался период надежд – знаменитая «Пражская весна».

3.

Говорить о тех пяти месяцах, с апреля по август, до дня введения десантных и танковых войск, нет смысла – всё это описано, рассказано, показано. Тем более, я не очевидец. А вот Петра была очевидцем. И в конце концов, речь здесь о ней, именно о ней, хотя и обо мне частично. А еще о времени, которое... Впрочем, процитирую саму Петру: «А если само время есть дьявол, то как?»

Вот именно – как?

Ладно, коль о Петре, то так.

В мае я получил от нее очередное письмо, и получил его необычным способом – почти по дипломатической почте.

Раздался телефонный звонок, и некий женский голос с милым моему сердцу чешским акцентом сообщил, что для меня есть, как было сказано, послание, которое надо забрать в посольстве Чехословакии. Адрес, телефон, время. Я поехал на улицу Юлиуса Фучика, это относительно недалеко от метро «Белорусская».

Там в холле позвонил по внутреннему телефону, вышла миловидная дама среднего возраста, уточнила мою фамилию и передала письмо. «То вам от товарища Новака», – сказала.

Письмо было, конечно, от Петры, а не от ее отца. Она мне всё объяснила. Привожу текст в моей редакции, в том числе с пунктуацией и без чешских словечек, которыми обычно изобиловали письма моей любимой.

Мой Петер, дорогой!

Это письмо нельзя посылать почтой, ты поймешь всё, поэтому я попросила отца что-то придумать, и он сказал, что попросит свою сотрудницу, которая едет в Москву работать в нашем посольстве. Чтобы она позвонила тебе домой, а телефон на обратной стороне конверта.

Надеюсь, она это сделала, и теперь ты можешь спокойно читать.

Дело в том я тайно побывала – не падай в обморок! – в Ватикане. Теперь ты понимаешь, что всё, что я опишу тебе дальше, нельзя было посылать обычным письмом. А как тогда? Помог папа, но главное, изменилась ситуация, а изменилась она так, что я оказалась в Милане. Наш оркестр поехал на маленькие гастроли в знаменитую Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди, там

мы исполняли концертную программу, в том числе Шопена, его 2-й концерт для фортепиано с оркестром – Piano Concerto no.2, F minor. За роялем – я. О чудо, о страх!

Но я сейчас не об этом, хотя, да, можешь поздравить меня, всё прошло очень успешно.

У нас выдался свободный день, и я решила исполнить свою тайную мечту – поехать в Рим, в Ватикан, чтобы поглазеть на него, на Собор Святого Петра (мой Петер, ведь это мы с тобой, мы Петеры, поэтому и для тебя это тоже!), но самое главное – чтобы попытаться увидеть кардинала Берана! Ведь теперь он там, в Ватикане, ты помнишь, я тебе рассказывала. А в Прагу его так и не впускают пока, хотя папа говорил мне, что уже пытался поднять вопрос о возвращении Берану нашего гражданства, но Дубчек сказал – пока рано, не надо лишний раз злить Советы. Так-то так, но я узнала, что кардинал болен, и сколько ему еще жить, неизвестно, ведь почти 80 лет святому человеку!

Конечно, еще в Праге я ничего не сказала папе о моем плане, потом ничего не сказала руководителю нашей делегации и главному дирижеру. Выпал свободный день в Милане, и я поехала в Рим, тайком, на поезде, а это, оказалось почти шесть часов и денег немало. Но я поехала – какие там деньги, почти всё отдала за эти билеты туда-обратно, оттого и в Прагу ничего не привезла, никаких сувениров.

Теперь так. В Риме доехала почти до самой пьядца Сан Пьетро, или площади Лоренцо Бернини, миновала колоннаду, полюбовалась на Собор, но внутрь не пошла (времени нет, да и денег на входной билет тоже, а так жалко!), а пошла в обход, куда мне нужно было (план Ватикана я купила в поезде). Дело днем, жара. Сразу же – будочка, из нее выходит охранник, швейцарский гвардеец из папской охраны Ватикана. О, Петер, ты знаешь, что такое папский гвардеец? Сейчас расскажу.

Симпатичный мужчина моего возраста, высокий, стройный, брюнет, в белых перчатках – но форма! Лихо заломненный на правую сторону берет, широкий белый воротник, сама форма – оранжевая с продольными синими полосами, с широкими рукавами–буф и таким же то ли кафтаном, то ли бриджами, то есть подхваченными ниже коленей, поэтому нижняя часть как бы имитирует сапоги.

Он смотрит на меня вопросительно, я начинаю говорить по-английски (мой запас – десяток слов), а он мотает головой в своем смешном берете, явно не понимает меня. Выясняется, понимает по-немецки. Слава Богу! У меня ведь в гимназии, помимо русского, из иностранных был немецкий, вот я ему и говорю (а сама вынимаю и протягиваю паспорт), говорю, кто я и как здесь, то есть, что приехала всего на пару часов из Милана с гастролей и что вечером у меня обратный поезд, а мне очень нужно увидеть кардинала Йозефа Берана, ну хоть на несколько минут, передать привет от родной ему Чехии, из которой его изгнали коммунисты. Он, кажется, понял меня, даже улыбнулся и вдруг попросил открыть мою сумочку – дескать, что там? Глянул туда, кивнул, проговорил «sehr gut» и указал на какой-то подъезд в глубине впереди. Там, сказал, внутри всё повторите, а я, опять улыбнулся, стою тут, отойти не могу.

Я поблагодарила и пошла, куда он указал. Открыла тяжелую дверь, ступила в небольшой зал, и тут опять передо мной вырос гвардеец. Опять вынимаю паспорт, опять повторяю свою речь. Этот уже не улыбается. Я иссякла, он молчит. Потом просит показать, что в сумочке, потом кивает на кресла – присядьте! – а сам идет за стеклянную загородку к телефону. Говорит с кем-то

о чем-то. Потом вынимает маленькую рацию (типа телефонной трубки) и опять что-то говорит, а что, я не слышу. Потом выходит ко мне. И докладывает без эмоций, по-немецки: «Монсеньор кардинал, Его Высокопреосвященство Беран скоро здесь проследует из своих покоев в Апостольский дворец. Ждите. У вас будет минута».

О, удача! Опять присела, жду. Так прошло полчаса, кажется (у меня, прости, аж спина вспотела от страха и предвкушения). Наконец – вижу: откуда-то сбоку появляется группа, четыре человека. Ну, двое – это те же гвардейцы, а между ними – пожилые люди, один в алом одеянии (значит, вот он, кардинал!), другой в фиолетовом – значит, епископ.

Вот я и увидела моего Йозефа Берана, в первый и в последний раз, к сожаленью. Сделала два шага вперед, а гвардейцы даже не дрогнули – несомненно, были предупреждены обо мне по рации. Кардинал – старый, чуть сгорбленный, породистое лицо с большим носом, а цвет лица какой-то нездоровый. Зато глаза, хоть печальные, но очень живые. Из-под шапочки – короткая седина... Я сразу опустилась на одно колено и потянулась к его руке для поцелуя. Он протянул руку. Потом я подняла к нему голову и заговорила по-чешски. Он сделал знак, и сказал тоже по-чешски: «Поднимись, дочь моя. Мы следуем к Его Святейшеству Папе в его библиотеку во Дворец. Можно было и через галерею, но хочется по воздуху. Следуй за нами, проводишь».

Мы пошли. Беран, слева от него кардинал, я справа, по бокам от нас, гвардейцы. Это длилась минут пять, наверное. Он спросил – что у меня к нему. Ничего, ответила я, хочу только его благословенья. Он кивнул. Потом спросил: кто я и как здесь, в Риме? Я рассказала. Он опять кивнул. Проговорил: «Милан, Шопен, это прекрасно». Я сказала: если имею право говорить за всю Чехию, то она с ним, кардиналом Бераном, и ждет его к себе на родину. Он опять покивал и сказал: «Я наслышан о переменах, однако не всё ясно и спокойно, я молю Господа Бога, чтобы Он упас мою страну, чтобы ее опять не постигла новая беда. А такое возможно, мы знаем». И умолк. Я что-то сказала еще, не помню точно что... а, кажется, про священника из собора Святого Вита, моего крестного отца. Тогда он сбавил шаг: «Я не видел его, я уже многих не видел... Но всё, дочь моя, иди с Богом. Как имя твое?» – «Петра», – ответила я. Он вновь покивал: «Святое имя. С Богом!» Перекрестил меня, и протянул руку для поцелуя.

Вот и всё, мой Петер. Я шла вдоль Собора и, прости меня, тихо плакала. Я почти приблизилась к Богу, понимаешь? Я сделала, может быть, главное в жизни.

Ладно, заканчиваю. А, вот еще такая деталь! Это я вычитала в проспекте о Ватикане, про швейцарских гвардейцев. Представляешь, во время войны, при Муссолини, когда в 43-м немцы вошли в Рим, ни один немецкий солдат так и не ступил на территорию Ватикана! А дело в том, что командир гвардейцев пригрозил, что если те попытаются, то гвардия вступит в бой. И немцы так и не сунулись в Ватикан. Смелость и преданность, И тогда Бог упасет, вот так!

Согласитесь, преинтересное письмо получил я почти по дипломатической почте. Отчаянной женщиной была моя Петра, это точно. Как она написала? Смелость и преданность, вот так.

В закрытой стране информация выдается дозированно, и только то и только так, как это угодно режиму. Поэтому народ почти ничего не знает. Что до меня, то я знал чуть больше, поскольку, во-первых, постоянно слушал рассказы отца о том, что

ему известно через МИД, а во-вторых, получал сведения от Петры, хотя тут были одни эмоции, связанные с бурлением среди пражской молодежи и интеллигенции, надеждами на новые реформы и на «социализм с человеческим лицом» (этот фразеологизм впервые употребил именно Дубчек, хотя мой отец, человек политически образованный, предполагал, что Дубчек «слямзил» его у американского политолога Хедли – «Власть с человеческим лицом»).

Если по сути, это была схватка. На ковре – два борца разных весовых категорий. Тот, кто полегче весом, стал придумывать новые хитрые приёмы, а «тяжелый», поначалу недоумевая, постоянно вязал ему руки и выжидал. Но и предупреждал своим грозным видом: если не прекратишь, обозлюсь и сразу припечатаю к коврику. «Лёгкий» понимал силу противника, но верил, что хитрость все-таки удастся и уж хотя бы ничьей он добьется.

Так и длилось до середины августа.

А в начале августа «тяжелый» сделал последнее предупреждение. Сначала в городе над Тисой, вслед за тем в Братиславе.

Чиерна-над-Тисой – маленький город в восточной Словакии, на границе с нашей Украиной. Туда и съехались противники (а вообще-то друзья по соцлагерю). Переговоры между нашими (во главе с самим Бежневым) и Дубчком со товарищи. Отец рассказывал, что атмосфера была напряженной, наши стремились связать Дубчека по рукам и ногам. Демократизация – это, конечно, неплохо, но должны быть четкие рамки, а именно: сохранение руководящей роли компартии, разумная цензура, разумное ограничение свобод граждан, выездов из страны, деятельности других партий и прочее-прочее.

И, как ни странно, эти мучительные переговоры, как считал отец и считали в МИДе, закончились удовлетворительным для Москвы результатом. Дубчек пообещал. Или опять схитрил? Но мы в Москве вздохнули. И в Праге тоже.

Уже через два дня – новая встреча, в Братиславе, сразу глав шести братских партий, союзников по Варшавскому договору. Это уже серьезней. Но опять вроде договорились. Отец утверждал, что это успех, и «теперь чехов не хапнут».

Хапнули уже через две недели. «Тяжелому» надоело, что его обманывают, он всерьез обозлился и пустил в ход весь свой арсенал. Исход был предрешен. С середины августа стали готовить вторжение силами Варшавского договора, хотя в основном это был советский десант и танковые полки. Генштаб в Москве и штаб Объединенных сил в Варшаве отработали операцию на отлично.

Последнего (про решение Москвы начать подготовку к вторжению) мы, естественно, не знали. Мы узнали результат. Утром 22 августа, из газет, радио и телевидения.

А за пару недель до того было еще спокойно. Так мне сказала Петра, позвонив из Праги. Сказала, что готовит новую программу, осенью гастроли, поэтому сейчас не до отпуска, и вообще уезжать из Праги как-то даже не хочется. И не надо. И ты, мой Петер, спросила?

Я не сказал ей всего. Того именно, чего не знал никто из моих близких. Объясняю.

В мои «Известия» тоже шла информация из-за рубежа от наших спецкоров. Но даже в том, что потом не проходило в печать, не сквозила тревога. Зато она сквозила в разговорах моих приятелей-журналистов. Вскоре я узнал, что не в

Чехословакии, а здесь, в Москве, есть некая группа, некий кружок, где... В общем, это были диссиденты, хотя данное слово тогда никто не употреблял. Меня свели с ними, причем активной стороной был я. В те дни меня не столько волновали нарушения прав человека в СССР, сколько волновала ситуация в Праге и вокруг нее. А если уж совсем честно, я боялся за Петру, идеалистку, смелую и отчаянную. Я не сомневался, что если что-то там случится, она ввяжется, пойдет до конца. В общем, революционерка, авантюриста.

Да, вот такая Петра. Это понятно, но теперь два слова о себе в те дни.

Я бывал там, в квартире, где собирались те самые протестанты, как мне показалось удачным называть их. Вот они-то предчувствовали катастрофу, в отличие от моего отца и меня с Петрой. Именно катастрофу. Реально предчувствовали. И оказались правы. Потом они вышли на Красную площадь и выразили свой протест. «Чехи, братья, мы с вами!», «Вон из ЧССР!». Это случилось 25-го августа, через четыре дня после ввода войск. Вышедших на Красную площадь было семеро. Имена известны. Их тут же схватили, арестовали, потом судили. Кого-то не судили, а признали невменяемыми и отправили в спецбольницы. Кто-то погиб или умер, кто-то выжил и много после был выпущен. Но все пострадали. Я должен был оказаться среди них. Меня упас Бог. Или, напротив, не упас, а не дал мне совершить поступок. Чтобы быть похожим на Петру. Потом станет ясно, почему.

Я не оказался в Москве. За неделю до события я оказался в Эстонии, на озере Пюхьярве. Отпуск (в отличие от Петры!). Родители уговорили меня поехать отдохнуть, отвлечься от мрачных мыслей. Отец всё повторял свое «теперь их не схпают». И я, идиот, успокоился, внял советам. Ну, две недели – авось, ничего не случится.

Случилось. Утром 22-го августа я подошел к газетному киоску на площади возле кирхи в городке Отепя, купил московскую газету и на первой же страницы увидел сообщение. Большими буквами. И всё.

Если помните, раньше я вскользь упомянул, что, еще учась на журфаке, начал пописывать, но в стол, в стол. Так вот, про это «и всё» я потом написал рассказ (кстати, много после опубликованный, но это отдельная история, и о ней тоже после). А тогда... тогда я, как говорится, бросился в Москву, потому что позвонить в Прагу из тихого эстонского Отепя оказалось невозможно: на почте у меня просто отказались принять заказ на такой международный разговор. Я понял, что отрезан от мира. От Петры, от Праги. А там по мостовым грохотали танки.

4.

Всё, что в те дни происходило на улицах Праги, теперь хорошо известно. Написаны книги, запечатлено на пленках. Можно читать, смотреть – и в документальном виде, и в художественном. Да, смотреть можно, а вот если участвовать? Участвовала Петра, а я даже смотреть те фильмы не могу – сердце сводит. Один раз увидел по телевизору, и мне хватило на всю последовавшую жизнь. А вот каково же было Петре пройти и пережить это?

Ответ: она этого не смогла пережить – и так до сих пор. А после тех событий стала молчушкой – и вообще, и в частности. В частности – это так: не заводила речь о Праге августа 68-го, что я понял довольно скоро и сам не задавал ей вопросов на эту тему. Мы ее как бы закрыли. Да нет, без как бы. Потому что Петра. Она

заплатила слишком много за то, что по натуре была такой. Какой? Ну, из предыдущего вполне ясно. Могла бы ведь и дома отсидеться или, как я, уехать отдыхать, взяв отпуск. Не отсиделась, не уехала.

В Москве я оказался только 25-го утром (была проблема с билетами, ведь самое отпускное время!). Приехал с вокзала домой, ничего нет, родители на работе. Позвонил маме в клинику, сообщил, что вернулся – да, преждевременно, так вышло, объяснил, надоело там, в Отепя. Потом набрал номер отца. Его секретарша узнала меня по голосу, сразу соединила. Я опять повторил свою легенду про надоело и тут же спросил:

– Как дела – у вас с мамой и вообще? (Слово «вообще» я произнес особым тоном.)

Отец понял.

– У нас всё хорошо, Алеша. И дома, и вообще.

– Значит, хорошо?

– Да-да, не беспокойся, всё хорошо, нормально, – заговорил он как-то даже подчеркнута весело, из чего я сделал вывод, что это игра: телефоны МИДа могли прослушивать, а может быть, этим сейчас занимается секретарша, кто знает.

– Так ты что, сын? Что-то еще, а то, извини, у меня люди в кабинете?

А, вот еще в чем дело! Но я все-таки сказал.

– Что еще? Да нет, в общем-то. Хочу позвонить, э, моей ненаглядной невесте, узнать, как она?

Отец опять понял.

– Давай это сделаем вечером, вместе, я тоже хочу ей привет передать, самолично. Дождись меня, обязательно дождись, договорились?..

Я тоже что-то понял, но, оказалось, не до конца, потому что дальше вышло так.

Распрощавшись с отцом, не смог утерпеть до вечера, набрал «07» и заказал разговор с Прагой. Ну, думал, скорее всего, Петра или на улицах или в своей Филармонии, пан Густав в своем ЦК, если его еще не арестовали, но хоть пана Власта должна быть дома, она нигде не работает, живет за широкой спиной обеспеченного мужа. Хоть она что-то расскажет – главное, где Петра, как она... Телефонная девушка, приняв заказ, проговорила обычное: «Ждите. В течение часа». Прошел час, затем еще один. Я позвонил опять. Уже другая девушка посоветовала набраться терпения – ждите, дадут.

Не дали. И не дадут, наконец, дошло до меня еще через несколько часов. Мне ничего не объясняли, говорили трафаретное «ждите», и всё. В общем, я понял: для простого смертного связи с Прагой сейчас нет. Молодцы, всё предусмотрели!

Я позвонил своему приятелю, и он заговорил горячо, не беспокоясь о прослушке: «Старик, ты с Луны свалился? Еще с позавчера все ежедневные чешские газеты исчезли из киосков – ну, там «Руде право» и прочие».

Я поехал в «Известия». Там, в моем отделе культуры, удивились: «Ты же в отпуске!» Потом мы долго трепались, откровенно, потому что с сотрудниками у меня сложились нормальные доверительные отношения, это были свои ребята. И эти «свои ребята» поведдали мне интересное.

Еще с 21-го числа с Прагой обычной телефонной связи нет. Но отсюда, из редакции газеты, нашим спецкорам можно позвонить из секретариата главного, причем не через обычное «07», а по международному коду, то есть напрямую (о таких кодах я тогда услышал впервые), однако это могут делать лишь завыв отделов, а наш зав в эти дни на даче, что-то там пашет, в смысле – пишет. Но и это еще всё. Наши тамошние корреспонденты, как и прочие журналисты из СССР, по наказу из Москвы сидят в нашем советском посольстве, не выходя в город, потому что там волнения, люди чуть ли не бросаются под танки, и антисоветские настроения доходят до крайней степени. Так что и звонить в наши корпункты бессмысленно. Ну, не в посольство же звонить! Кому? И там такая прослушка!

Мы посудили-порядили. Что творится в Праге, кроме вышесказанного, почти не известно. Надо подождать несколько дней – прояснится. А единственный источник информации – слушать вражьи голоса, хотя глушат их страшно, прямо с 21-го...

Я уехал домой, ждать отца. Может быть, он знает больше.

Да, он кое-что знал. Дубчек и его ближайшие соратники арестованы утром 21-го и вскоре самолетом доставлены в Москву на какие-то «переговоры». Пока это всё, что отцу известно. А ситуация в Праге? В Праге танки, толпы на улицах и площадях, волнения, сказал отец, больше не знаю. Что дальше? Дубчеку будут выкручивать руки, чтобы он что-то подписал, оправдал ввод войск, потом это опубликуют, но сие уже и не важно, потому что «Пражской весне» конец и Дубчеку со товарищи конец – не в смысле, что их убьют, их просто отстранят, куда-то отправят, вышлют... в общем, с ними – всё. Кстати, напомнил отец, и пану Густаву, отцу Петры, члену ЦК, стороннику Дубчека, тоже не сдобровать, ты уж, сынок, к этому приготовься...

Забегая далеко вперед, скажу, что потом стало известно в подробностях.

На рассвете 21-го августа наши десантники окружили здание ЦК в Праге, заблокировали окна и внутренние двери кабинета Дубчека, отключили связь. В кабинете – несколько человек. Вошедший полковник КГБ сказал, что всех берет под свою охрану. Продержав несколько часов, арестованных отвезли в аэропорт. Потом насильно втолкнули в самолет, который взял курс на Москву. Потом Дубчека и остальных доставили в Кремль. Начались «переговоры» с высшим руководством СССР.

А 26-го августа, в Кремль тем же путем доставили и других чешских реформаторов, пребывавших под арестом в Праге. Среди них – и отца Петры. Все они, вместе с Дубчеком, должны были подписать покаянный «протокол». После долгой торговли, споров и угроз – подписали. Еще через несколько дней их вернули домой, и – пока (о, чудо!) – на прежние посты.

Но я шибко забежал вперед. А 30-го августа, меня, ничего этого не знавшего, наконец-то (еще раз о, чудо!) соединили с Прагой.

Был поздний вечер. Трубку сняла пани Власта, узнала меня, но на вопросы, где Петра и как вообще, молчала. Ну да, она же по-русски ни бум-бум, вспомнил я. Потом услышал: «Пан Густав... э, нини, хнед». Кажется, это означало: пан Густав, сейчас. То есть что к телефону подойдет ее муж. И действительно.

Дурацкий и страшный получился разговор. Пан Густав был явно не в своей тарелке, говорил тихо, односложно, нехотя. Вот что удалось узнать.

Первое – про Петру. Ее нет дома, она в больнице. Да, бытовая травма, перелом руки, сотрясение мозга, но легкое. Перелом тоже вроде не страшный, рука в гипсе, скоро выпишут, на днях. Когда точно, когда позвонить? – спросил я. Ну, на

днях. Она сама позвонит, он, пан Густав, ей скажет, что Алексей звонил, она сама позвонит, сама.

Второе – про, так сказать, вообще. (Ясно, мы оба понимали, что разговор, скорее, всего, прослушивается.) Он, пан Густав, дома, пока не работает... ну, такой временный отпуск. А вообще... вообще всё нормально, всё будет хорошо, конечно. Главное, чтобы у дочери скорее зажила рука, рука-то правая, и чтобы пальцы хорошо слушались – у нее же выступления в сентябре...

Вот и тема пальцев возникла. Она, эта тема, окажется существенной.

Не странно, я сразу догадался, что эта травма не бытовая, как сказал пан Густав, а уличная. Перелом. Где, в какой части руки, что с пальцами? Если будут последствия, то как Петра будет писать письма – рука-то правая? Но самое главное: для пианистки возможна проблема?

И мне сразу вспомнился знаменитый пианист Лю-Ши-Кунь с его пальцами, раздробленными хунвейбинами во время «культурной революции». Дьявольская аналогия!

Она позвонила еще через два дня, 1-го сентября, это я хорошо запомнил. Голос какой-то будто смятый, тихий, с постоянными паузами. Я попросил: расскажи, что можешь, как ты вообще, что рука, где перелом? И после паузы услышал:

– А, да, перелом... Я тебя очень люблю, мой Петер... Перелом? Предплечье, почти у запястья, у сустава. То е перелом локтевой кости, мне сказали в больнице, какого-то шиловидного отростка... Два пальца почти двигать нени можнэ, то е нельзя. Э, не могу. Мизинец и с ним рядом еще. А, ну да, безымянный, да, спасибо... Но доктора говорят, всё будет хорошо, пальцы будут, будут... А когда? Мне играть надо скоро, очень играть, концерт! Теперь нени можнэ, в сентябре. А в ржиен? (Это значит в октябре)... А, ржиен! Играть не хочу. Ничего не хочу. Только видеть тебя. Ты как, Петер мой? Как видеть тебя, целовать тебя? А, никак нельзя, да...

Потом она замолчала, и говорил только я. Как люблю ее, какая она прекрасная, как всё у нас будет хорошо и что мы обязательно скоро встретимся. Я говорил полную чепуху. Не про «люблю», а про «скоро встретимся». Я понимал, что это никак невозможно, и Петра это понимала. Мне показалось, что она тихо плачет. А деньги, ее кроны, тикали – ведь международный телефонный разговор! А я всё говорил, говорил, но вскоре иссяк и только слушал тихий плач.

Потом, уже той ночью, я подумал: вот как человек может получить инфаркт. Когда слышишь любимого человека, слышишь его плач, его боль, а ничем помочь не можешь, даже быть рядом не можешь. Виза, деньги. Да хрен с ними, деньгами, а вот виза – это никак!

Хотя и деньги, теперь и деньги, да, Теперь пана Густава, несомненно, попрут из ЦК (это в лучшем случае), а значит, зарплата не та, и служебной машины не будет, и пани Власте придется выйти на работу, а не заниматься лишь домом и расхаживать днем по рынкам и магазинам. А Петра? Если она не сможет играть на рояле, то что – профнепригодность? Вот тебе и финал «Пражской весны» для отдельно взятого семейства!

Но это у них, а я в Москве. В Москве я даже инфаркта не схлопотал, и это мне странно. Ведь такая сердечная боль.

И вспомнилось мне про инфаркт. Мама рассказывала. Мама ведь врач, и когда-то еще в студенческие годы она слышала на лекции историю, как злодеи

физиологи моделировали инфаркты. Две большие клетки рядышком, между которыми перегородка из толстых прутьев, сквозь которую всё видно. В каждой клетке – по самцу шимпанзе, но в клетку к одному из самцов впускают самку, которая подруга (по–нашему, жена) другого. То есть не к своему самцу, а к чужому. И чужой самец на глазах «мужа» начинает половой акт с его самкой. «Муж» дико кричит, носится по своей клетке, пытается рвать прутья, а чужак продолжает свое дело. Финал истории: самец–муж получает инфаркт (то ли в ходе первого «просмотра», то ли последующих). Это зафиксировано на электрокардиограммах, которые снимали после каждого эксперимента.

А у меня такого не случилось. Я не шимпанзе, и насилия над моей подругой (вообще–то женой) я не видел. Я только мог представить, как это было. И потом слышал ее плач. Нет, для инфаркта этого оказалось недостаточно. Надо было видеть, так эффект сильнее.

Видела Петра. А я увидел много после, по телевизору. Не Петру конкретно, а людей, кидавшихся на танки, БТРы, на советских солдат. Видел раненых, травмированных, видел их лица, ненависть, ужас в глазах. Видел однажды и зарекся – всё, больше никогда! А то ведь и вправду сердце не выдержит.

Прошло время, Петра никогда не рассказывала мне о тех днях, ни в письмах, ни по телефону. Она тоже зареклась. Я это быстро понял и даже не пытался расспрашивать. Тема закрыта навсегда. Лишь много потом я узнал одну подробность: Петра с друзьями швыряла «коктейли Молотова» в советские танки, и в какой-то момент, когда один из танков развернулся и медленно двинулся на толпу, Петра побежала, попала в давку, опять побежала, споткнулась о кого-то и, упав на брусчатку, сильно ударилась, а к тому же по ней еще пронесли несколько человек. Кто-то ее поднял, оттащил в сторону, к домам. Потом ее увезли по «скорой». Результат: сотрясение мозга, перелом правого предплечья. Пан Густав узнал об этом лишь через несколько дней, когда его вернули в Прагу после ареста и срочной «командировки» спецрейсом в Москву.

Там же, в Москве, и тогда же, в августе, сделали оргвыводы, исполнение которых последовало уже в следующем, 69-м, в апреле: первым секретарем КПЧ был избран промосковский Густав Гусак, а Дубчек отстранен и вскоре отправлен в почетную ссылку, послан в Турцию.

А что тезка бывшего лидера Чехословакии, пан Густав Новак? Его тоже попросили из ЦК и направили в город Теплице, на его родину, в тамошний районный комитет партии. Финита ля комедия.

5.

Глава 1 Части первой начиналась с момента, когда мы с Петрой обмениваемся телефонными звонками, чтобы поздравить друг друга – сначала я ее с Рождеством (в ночь на 25 декабря), потом она, в новогоднюю ночь.

Повторим. В ту новогоднюю ночь я ждал ее звонка с понятной тревогой. Это была ночь с 68–го на 69–й. Слишком свежи события августа, да и в доме Петры не всё ладно, а точнее, неизвестно, что дальше. И по телефону всего не скажешь. И в письме не всё скажешь, даже если она решится написать.

Конечно, мы знали: что-то изменится. А пока семья оставалась в Праге. Но знали: что-то изменится. И верно, изменилось. Весной они переехали в Теплице, город на северо-западе Чехии, в Судетской области Устецкого края. Когда-то там родился пан Густав. Вот туда, на родину, его и отправили, а жена и дочь переехали вслед за ним. Там и осели, и надолго, аж на двадцать лет, до нового чешского катаклизма – «Бархатной революции» 89-го года, когда коммунистов попросили вон, Дубчек вернулся во власть, став председателем Федерального собрания Чехословакии, а пан Густав – депутатом этого Собрания. Естественно, семья возвратилась в Прагу.

Но это я опять забежал вперед, аж на целых двадцать лет, в течение которых многое было. Нет, речь, слава богу, уже не о политических событиях, а о нас с Петрой. О Петре, в первую очередь.

Тогда, в новогоднюю ночь с 68-го на 69-й, едва поздравив меня, она продолжила печально:

– Петер, он умирает.

Я понял, о ком речь. Ее идол, ее Бог. Кардинал Беран, лишенный чешского гражданства «узник совести», с 65-го года живущий в Риме, точнее в Ватикане. Старый человек, за восемьдесят, больной. Теперь он умирает... Сразу вспомнилась та почти невероятная история, как Петра тайком встретила с ним в Ватикане возле Апостольского папского дворца. Отчаянная женщина!

Отчаянная женщина изменилась. Стала молчаливой, замкнутой. Это после событий «Пражской весны», после крушения надежд, после того, что творилось на площадях Праги, после ее, Петры, «коктейлей Молотова» по советским танкам, после давки в отступающей толпе, падения, перелома, плохо слушающихся пальцев. Да, пальцы. Если они не выправятся, не станут двигаться, как надо, не восстановят гибкости и силы, то карьере концертирующей пианистки – всё, конец. Синдром Лю-Ши-Куня, как я это назвал. В том смысле, что опять заваруха, насилие и опять пальцы пианиста. Тогда – знаменитого китайца в мясорубке «культурной революции», теперь – только готовящейся стать знаменитой чешской пианистки, безоружной, против танков в водовороте «Пражской весны».

Да, нельзя быть пианистом, когда в твоей стране «минуты роковые».

Теперь Петра занимается тренингом. Разрабатывает пальцы – мизинец и безымянный на правой руке. В свою Филармонию не ходит (по-нашему, она на больничном), просиживает дома за кабинетным роялем, мучается, терпит, играет сквозь слезы, разрабатывает. Еще она ходит на массаж, занятия по восстановлению объема движений и на физиотерапию. Это ей отец устроил в его цековской клинике (пока он еще член ЦК). Откуда мне всё известно? Ну, понятно, из писем Петры. Мы же по-прежнему переписываемся, хотя и реже. Нет, не потому, что любим меньше, а потому что... Если одним словом, депрессия. Ну, у Петры, не у меня же.

Оркестр без нее, концерты Петры Новаковой отменены, поездки тоже. Петра Новакова занимается тренингом. Надежда на продолжение прежней деятельности есть. Надо работать, работать. Пражская Филармония ждет Петру Новакову, восходящую звезду, конек которой – Шопен. Да-да, как это она сказала однажды: «Почему именно Шопен? А он и есть любовь, мой Петер, самая чистая. Серебряные трубы, поющие в облаках».

Серебряные трубы не поют в облаках: у Петры Новаковой депрессия.

Скажем точнее: у Петры Новаковой, еще полгода назад сильной и отчаянной, нешуточная депрессия.

Через три месяца, в начале апреля 69-го, от Петры пришло странно-спокойное письмо. Почему я так его определяю? Потому что беспокоился, как она отреагирует на посланный ей рассказ, мой рассказ. Он напрямую касался прошедших трагических событий в Праге, хотя лично Петра или похожий на нее персонаж там не фигурировали.

Вот что она писала:

Мой Петер, я взлми рада за тебя. То е хорошее чтение. Ты молодец. Ты писатель. Как ты смог то е увидеть из Москвы но не писать про всё как было в деле? Но чувство дать верно правильно будто был в Праге сам персонально и всё пережил сам. То е и есть писатель а не хроникалист. Ты меня разумеешь? Я плохо могу сказать о чувстве но чувство у меня большое о твоём рассказе. Ты должен писать еще. Не о Праге тогда а писать писать про всё – быть писатель.

Я разумею что этот рассказ не публикуют никак. В СССР в Чехословакии никак. А на Западе? Как это пробовать? Ты можешь это пробовать? Я теперь тоже не могу. Ты разумеешь.

*Но есть вопрос прости меня. Я к пани твоя пани из рассказа (о нашла в словаре!) ревную. Прости. Та молодая Анюта у тебя – так было реально или ты то е фантазию сделал? Значит сочинил. Если сочинил то е ладно хорошо а если та пани есть реально то мне... как это?.. по-немецки так: *Es ist traurig**. Но я говорила я тебя люблю а любить то е прощать.*

Пробуй Запад!

Мои пальцы никак. Играть могу но не быстро и звук плохой. Темп темп – а темп не идет! Черт возьми как ты часто говоришь! Массаж и физио не помогает. Писать можно двигать рукой можно и пальцами можно а играть быстро никак. Доктор сказал часть нерва зацпился (так я правильно?) в суставе когда кость росла после перелома. Ничего уже не помогает. Значит я почти калека пианист. А то е не пианист. Пенсия! Я умру от то е. Ты разумеешь? Но я не умру пока ты. Я есть моя музыка и мой ты. Теперь наверно музыки нет теперь только ты. Ты не будь грустный хорошо мой Петер?

Я взлми люблю тебя. На сhledанову, Петер!

** *Es ist traurig* – Это печально (нем.)*

Конечно, спасибо за такую оценку моего рассказа, да разве теперь об этом? Пальцы, пальцы Петры – вот в чем дело, вот какая беда! Но при всем этом – да, на удивление спокойное, странно-спокойное письмо. И по поводу событий в Праге из моего рассказа, и по поводу пальцев. Может быть, Петра как-то свыклась? Свыклась с потерей, причем, за исключением меня, с потерей всего – свободы, надежд, своей карьеры? Нет, не может такого быть.

А по поводу героини моего рассказа, упомянутой Анюты, то, отвечая Петре, я сказал ей правду: Анюта – чистый мой вымысел, так нужно было, иначе не сложилась бы центральная коллизия, да дело уже в не в этом. Дело в том, что неужто моя Петра не понимает, что, согрешив когда-то, я уразумел главное: моя любовь – это только так, когдаходишь в тело, чтобы проникнуть в душу, а для этого существует только Петра, поэтому, если не проникать в душу, то лишь входить в

женское тело у меня потребности нет. Значит, добавил, впредь не лазай в словарь за словом «ревновать».

А что до «пробуй Запад», как она написала, то к этому мы еще вернемся, потому что тот мой рассказ потянул за собой преинтересные события. Но Петрина, так сказать, рецензия (внутренняя, конечно) оказалась первой рецензией на мое творчество.

Ладно, это потом, а пока, мне показалось, депрессия у Петры все-таки поуменьшилась.

Увы! В том же апреле – печальные новости. Вот и сбылись предчувствия.

Об этих событиях, уже упомянутых выше, мы узнали из газет. В Праге состоялся пленум ЦК. Дубчека и его главных сподвижников сместили с постов, убрали напрочь. Что до пана Густава Новака, то его в тех газетных сообщениях не упоминали, ибо он был не из самых главных. О нем я узнал от Петры.

Его тоже убрали. Из компартии не исключили, но выкинули из ЦК и сослали в Теплице, в тамошний райком партии. На родину. Он переехал, а в мае, вслед, за ним, туда перебрались пани Влада и Петра. Квартиру в Праге пришлось отставить. Это уже не их квартира. Их квартира теперь в Теплице. И места работы там же.

То, что мне еще через месяц, уже из Теплице, написала Петра, привожу в своей редакции, поскольку письмо было написано то по-русски, то по-чешски, и мне даже пришлось поработать со словарем.

Мой Петер! Теперь мы тут и уже в своем доме. Бывший папин дом, где он жил до оккупации Судет немцами в 38-м году, показался нам старым, и мы сразу поселились в другом небольшом доме, первый этаж которого арендовал папа. Там у нас пять комнат: гостиная, кабинет папы, их спальня с мамой, моя комната и гостевая (она пустует, но на всякий случай пусть будет). В общем, хорошо, просторно, никто не мешает. В моей комнате – небольшой рояль, перевезенный из Праги, могу что-то наигрывать для себя и планирую набрать пару учеников, поскольку дополнительные деньги нужны.

Дом наш на тихой улице, почти рядом с костелом Святого Иоанна Крестителя (12 века, бывший монастырь бенедиктинок), иногда даже слышен орган, это очень приятно и удобно, что близко.

Теперь про сам город. Он маленький после Праги, всего 50 тысяч жителей, а от Праги меньше 100 километров, но недалеко от границы с нелюбимой мной Германией (это после оккупации нас, Холокоста и участия вместе с вашими в подавлении недавно). Почти у Крушных гор, поэтому вокруг красиво, очень зелено. Всей Чехии Теплице известен как курорт, тут горячие минеральные источники, лечат кости, позвоночник, суставы и прочее, так что мне это пригодится для моих несчастных пальцев и лучезапястного сустава. Еще ратуша, конечно, и известный Ботанический сад.

Теперь о музыке. Тут консерватория, филармония, ежегодно – Бетховенский фестиваль. Это потому, что Бетховен тут бывал и даже однажды встретился с Гёте (а вот к культуре Германии я отношусь очень хорошо, она великая, конечно).

Выходит, мне повезло, что, помимо филармонии, где дают всякие концерты, есть консерватория, в которой ведется преподавание, в том числе по

классу фортепиано. Это я к тому, что вот мне и работа. Играть на концертном уровне я уже не могу (с этим всё!), остается заниматься педагогикой.

И я уже начала заниматься, преподавать. Меня сразу приняли, потому что я представила им диплом об окончании Московской консерватории у Льва Оборина, дипломы за победы в конкурсах в Праге и Братиславе, а еще рекомендательное письмо от директора Пражской филармонии и еще одно – от нашего главного дирижера пана Вацлава Талиха. Спасибо им за эти рекомендации, мы чуть не плакали, когда расставались.

Так что теперь я зовусь «пани маэстро Новакова», имею свой класс и учеников. Вживаюсь в эту роль, неожиданную для меня. Вспоминаю терпеливость и мудрость Оборина, но куда мне до великого! И вообще вспоминаю обучение в Москве, теперь я в шкуре маэстро, а мои ученики – в бывшей моей шкуре студентки. Это забавно, но полезно.

Короче говоря, началась моя новая жизнь. Провинция, преподавание, отдавание частных уроков. Надо привыкать, что ж поделаешь. Надо жить, да? Такое у нас время – терпеть, привыкать.

Папа тоже привыкает. Ему тяжелей, чем мне, конечно. Хотя мы оба пострадали, но он больше. Он вдруг постарел, даже похудел, заметно поседел. Бедный папа.

Мама пока не работает, но скоро начнет – в Теплицкой галерее «Bohemia Art», каким-то искусствоведом.

Петер, я очень люблю тебя и мечтаю, чтобы ты приехал. От Праги всего два часа автобусом по хорошему автобану. Как это мне и тебе сделать? Приглашение? Спроси у твоего отца и напиши мне.

Я храню твои письма и перечитываю их. И опять очень хочу быть с тобой ночами. Может, я выздоравливаю? С Богом.

И тебя храни Бог.

6.

Тогда же, в мае 69-го, получив это письма, я сразу сел писать ответ. Был поздний вечер, и тут услышал телефонный звонок в коридоре. Следом крикнула мама: «Алеша, быстро, межгород, кажется, Петра!»

Я поспешил в коридор. Успел подумать: опять что-то случилось, ведь сейчас не новогодняя ночь, когда она мне обычно звонит!

– Петер, это я, – раздался спокойный голос. И затем так же спокойно: – Петер, он умер.

Я опять понял, о ком речь, кого не стало.

– Когда? – спросил зачем-то (какая разница когда – вчера, позавчера!).

– Вчера, – будто специально для меня уточнила Петра.

– Там?

– Там.

– А где... ну, хоронить?

– Э, не знаю, решают... э, переговоры.

Мы замолчали. Хотелось что-то сказать, но что? Успокоить, приглушить боль, а как? Никак. И чертовы деньги, чертовы кроны, которым всё равно, молчишь ты или говоришь что-то, бесплотно общаясь с любимым человеком, который за границей.

– Чёртовы деньги! – сказал я.

– Чертовы, – тихо отозвалась Петра. И уже громче: – Петер, приезжай ко мне. Вэлми надо видеть тебя. Пробуй, да. Хорошо?

– Хорошо. Я... я очень... – И замолк.

– Я знаю. Я такэ.

– Такэ – это «тоже»?

– А, да, да. На схледанову, Петер.

– Да... да...

В трубке возник чужой голос телефонной барышни: «Поговорили, закончили?» Я не ответил и положил трубку: в ней жила уже не Петра.

Вот и всё, кардинал Беран, подумал. Ты свое отдал, в том числе и Петре. Что теперь, где схоронят?

Потом я узнал от Петры. А она узнала из австрийских радиопередач, которые хорошо прослушивались в Теплице (как до того узнала и о смерти святого изгнанника). Власти Чехословакии запретили перевоз тела кардинала из Рима на родину для прощания и захоронения – как в Праге, в соборе Святого Вита, так и в Пльзене, месте рождения Берана. После безрезультатных переговоров, по решению Папы Павла VI кардинала погребли в храме Святого Петра в Ватикане, где традиционно и почти исключительно хоронят глав Римско-католической Церкви. Чтобы не отставать от Ватикана по части воздания должного почившему, в центральной прессе Чехословакии вышло несколько статей, порочащих Йозефа Берана. Нет ничего святого! А впрочем, без комментариев.*

.....

*В конце 2008 года Пражский архиепископ Милослав Влк благословил открытый в Праге памятник Йозефу Берану, заявив при этом, что кардинал Беран является выдающимся деятелем чешской истории и настоящим символом сопротивления коммунистическому тоталитарному режиму.

Вот такое время нам выпало.

А ты хочешь в другое? Как сказал поэт: «А при Грозном жить не хочешь?» Тоже без комментариев. Поэтому будем жить в своем времени и пытаться.

Я пытался попасть к Петре, это тогда стало главным.

Отец сказал – даже не пытайся. Ну, пришлёт она приглашение, а потом? Ну, в ОВИР. Там спросят: кто вам эта Петра Новакова? Пойми: фактор приглашения от частного лица у нас теперь не имеет значения. Только к родственникам. Или поездка по турпутевке, или в составе тургруппы. А поскольку ты один и теперь не имеешь ходатая – члена ЦК Чехословакии, как было в прошлый раз, то... Еще: характеристика с работы. Ну, получишь, но всё равно не выйдет. К тому же есть еще

одно немаловажное обстоятельство: ты указываешь, что намерен ехать в город Теплице к Петре Новаковой, от которой приглашение. А ее отец Густав Новак – под колпаком чешского КГБ. Понял!

Но я упрямый, я попытался. После получения приглашения от Петры (естественно, заверенного по всем правилам) попросил в «Известиях» дать мне характеристику для кратковременного выезда за границу, в социалистическую Чехословакию. Конечно, дали, причем за подписью, в числе прочих, секретаря партбюро, хотя к родной партии я не имел отношения. Присовокупив положенные документы, подал прошение в районный ОВИР. Через два месяца выяснил, что получил отказ. Без объяснения причины. Пошел на прием к тамошнему начальнику, и он повторил фактически то, что мне говорил отец. Могу ли жаловаться или обращаться в более высокую инстанцию? Можете – начальнику городского ОВИРа. Есть ли шанс? Если честно, нет, сочувственно улыбнулись мне.

Отец только развел руками. Дескать, не трать время, а главное, нервы. Надо сделать так: достать турпутевку на поездку, скажем, в Карловы Вары, в санаторий, а мама предварительно напишет тебе справку, что у тебя, например, хронический гастрит и тебе показано санаторно–курортное лечение. А уж там на месте разберешься, как встретиться с Петрой, Чехословакия не Советский Союз – сел на автобус и через час-два где надо.

А что – идея. Так я и написал Петре, поведав об общении с ОВИРОм и о возникшей идее.

Был уже август, свободных путевок в Карловы Вары на сей год, как мы с отцом выяснили, уже не было. Пробуйте заказать на следующий, посоветовали.

Я и об этом сообщил Петре в новом письме. Потерпим еще, написал. Не написал только о том, что впал в самую настоящую тоску.

Она свалилась на меня как-то вдруг. До того была злость – а на что? На судьбу, на эту страну, на время, выпавшее нам, или на себя, не могущего решить свою личную проблему, несмотря на страну и время? Неважно (или все-таки важно?). Была злость. Она бушевала во мне с неделю – и вдруг схлынула, а ее место заняла тоска. Почти депрессия. Ну вот, подумал, Петра вроде преодолела свою депрессию – теперь я в обнимку с ней. Два сапога пара. Но с различием: Петрину депрессию можно понять (столько пережила за последнее время, никому не пожелаешь!), а я-то что?

Что я? Да ничего, если по большому счету. Ну, работал, служа в своем отделе культуры «Известий», ну, иногда пописывал (пару рассказов сочинил), но всё это вторично, второй план, как говорят киношники. Первым планом, и единственным, оставалась Петра, но ее-то со мной не было.

А она? Она, как я знал из писем, помаленьку втянулась в свое консерваторское преподавание и даже увлеклась этим. Ну да, она всегда была увлекающейся натурой, эмоциональной и, если бралась за любимое дело, то отдавала ему всю себя. Как раньше с учебой у Оборина, потом с концертной деятельностью в Пражской филармонии и с борьбой за свою несвободную страну. И как со мной, между прочим: если любовь, то до конца.

Счастливая у нас любовь, да вот беда – мы не вместе, между нами граница, а живем мы в странах, где реальная возможность счастья и благополучия отдельного человека (уж о любви говорить не будем) не записана в их генетическом коде. Код в этих странах один – тоталитаризм. Деспотическая, якобинская власть,

прикрывающаяся некоторыми социальными гарантиями (бесплатное образование, здравоохранение... но каков уровень такого здравоохранения?).

Ладно, оставим это. Кроме одного: как все-таки нам любить?

В тот год, уже 70-й, с Карловыми Варами ничего не вышло: почему-то не было путевок в желудочно-кишечные санатории. А в Теплице – там тоже бальнеологический курорт? Нет, в Теплице не получится: там – для больных с проблемами опорно-двигательного аппарата, а вас, ответили мне, судя по медсправке, проблема с желудком. Извините.

Черт знает, может быть, тогда простым советским людям просто-напросто ограничивали поездки в Чехословакию?

А вот в следующем году вышла целая история, и о ней подробней.

7.

«Пробуй Запад!» – эта фраза Петры, касающаяся того, чтобы как-то опубликовать мой рассказ за границей, оказалась почти реальной. Совершенно неожиданно. Я уж о том не думал не мечтал. Как снег на голову. Что, вырваться из-под нашей цензуры, это возможно?

Шло лето 71-го, в конце июля в Москве должен был состояться VII Международный кинофестиваль. Меня вызвал шеф и сказал, чтобы я аккредитовался на том фестивале, а затем поставлял в газету материал для ежедневной колонки, и так в течение десяти дней. В общем–то, это честь для меня.

Благодаря активному присутствию на фестивале, я увидел многое и многих. Отличные фильмы, интересные люди, в том числе всемирно знаменитые. Есть что и на кого посмотреть. Зря время не потерял, уставал только, поскольку днем – просмотры, общение, интервьюирование, а ночами – писание очередной статьи для колонки в «Известиях».

Сам фестиваль, помимо прочего, запомнился и тем, что Золотой приз на нем получил фильм японца Канэто Синдо с неприличным для социализма названием «Обнаженные девятнадцатилетние» (у нас он потом шел в закрытых просмотрах как «Сегодня жить, завтра умереть»).

Так вот, буквально в первый день, знакомясь с иностранными журналистами, я обменялся рукопожатием и с коллегой из «Руде право». Сердце ёкнуло: родная Прага! Его звали Карел Черны, крепкий, спортивного вида мужчина около тридцати (то есть лет на пять старше меня), и кто мог знать, что он запомнится мне на всю жизнь.

Как-то мы быстро сошлись, приглянулись друг другу. По-русски он говорил куда лучше моей Петры, то есть совершенно, но главное, уже вскоре стало понятно, что отношение к действительности у нас одинаковое. Карел не раз вспоминал «Пражскую весну», говорил, что в дни марша танков по улицам и площадям Праги успел сделать кучу фотоснимков и как-нибудь найдет способ переправить мне кое-что. «Это фантастический кошмар, ты убедишься!» – эмоционально восклицал он.

Отсюда не странно, что мы подолгу болтали до и после просмотров, обменивались мнениями, а через пару дней оказались в ресторане, где хорошо

посидели, хорошо выпив и закусив. Назавтра после этого Карел сделал ответный жест – пригласил в ресторан меня. И вот там, когда в очередной раз речь зашла о пражских событиях, я обмолвился, что у меня есть рассказ на эту тему. «О! – привычно воскликнул Карел. – И его опубликовали?» Услышав в ответ: «Нет. Ты что, не понимаешь, где мы живем?», он закивал, пробурчал что-то (похоже, выругался по-чешски) и тут спокойно попросил дать ему почитать. «Не бойся, я – могила!»

Назавтра я передал ему машинописный экземпляр.

А еще через день случилось неожиданное. Карел начал так:

– Алексей, первое. Рассказ мне понравился. Больше скажу, не ожидал. Ты же не профи, только журналист, а тут – настоящий писатель. И тема подана – класс! Класс, потому что не глазами очевидца, но читатель всё видит и понимает. Короче, давай так. Ты отдаешь этот текст мне... ну, я же сказал тебе, я – могила, тебя не подведу. Так, дальше: ты отдаешь рассказ мне, а я передам его одному моему приятелю, журналисту из Австрии. Почему Австрия? Потому что у нас в Чехии это не опубликуют, можно не пытаться. А Австрия – очень удачно. Во-первых, мы исторически дружим, все-таки когда-то жили-были в единой империи, Австро-Венгрии, мы были ее часть – Богемия, Моравия. Во-вторых, тот мой знакомый работает в венском литературном журнале, пару раз в год приезжает в Прагу, мы видимся. Я ему дам. А вдруг напечатают? Ну как, ты мне дашь?

Я обалдел, выпил, стал думать. Придумал:

– Да. Но при условии, если изменю фамилию автора на псевдоним.

– О'кей, меняй! Однако справка нужна.

Я опять обалдел: и там справка? Карел засмеялся:

– Ты не понял! Справка на автора, пусть он под псевдонимом. Где автор живет, где публиковался, имеет ли литературные призы, то есть премии.

– Этот автор нигде не публиковался и премий не имеет.

– Понял, понял! – Он вновь растянул губы в улыбке. – Ладно, меняй фамилию на псевдоним. Давай, вперед!

Я тут же извлек ручку и тщательно замарал «Алексея Симонова». Потом, подумав, вывел чуть выше: «Петр Новакин», потом на обратной стороне рукописи написал: «Автор живет в Советской России, литератор, журналист» – и протянул Карелу. Он убрал рукопись в маленький портфельчик, который обычно носил на ремешке через плечо.

– О'кей! Дай твой телефон в «Известиях», я тебе позвоню из своей редакции из Праги. То есть за счет газеты, ха-ха! – Мы еще выпили, и Карел спросил: – А почему такой псевдоним, Алексей? Просто так?

– Нет, далеко не просто так. Есть у меня знакомая, она пражанка, хотя теперь живет в Теплице. Петра Новакова. Вот, в честь ее. Её имя и фамилия, но в мужском русифицированном варианте.

– И хорошо, пусть так... Э, Новакова, Новакова... В Чехии Новак и Новакова... так это до кучи.

– Да, знаю. Но эта – особенная Новакова. Она пианистка. Музейный экземпляр, раритет.

– Погоди, стоп! – Он задумался. – Молодая, красивая... Из Пражской филармонии?

– Молодая, красивая, но теперь она в Теплицкой консерватории.

– О, так я ее видел! В Праге, на концерте в Зале Дворжак! Видел на сцене, но лично не знаком. О ней говорили, говорят. Известная дама – ну, в музыкальных кругах. Черт возьми, как тесен мир своих людей! – Карел был просто рад. – Нет, это прекрасно, что так! Петра Новакова... Я даже помню, что о ней говорили.

– И что же о ней говорили? – Мне стало интересно.

– Что? Что у нее мужской пианизм, а это редкость для женщин–исполнителей, для пианисток. И что так особо, когда она, эта Петра, играет Бетховена.

– Да? А я–то слышал, что любимый у нее – Шопен.

Карел пожал плечами:

– А, не знаю. Может, и Шопен, я говорю, что слышал. Но то было несколько лет назад... Э, погоди, слушай, вот что еще! Ты сказал, она сейчас живет в Теплице. А совсем скоро там фестиваль Бетховена, это ежегодно, так я туда еду от газеты! Приеду, возьму у нее интервью! А? Вот идея, да? Отлично!

Я обалдел в очередной раз.

– Возьми интервью, передай от меня привет. – И тут спросил: – А письмо ей передать сможешь, только лично в руки?

– А как же! Запросто! Пиши письмо, пиши!.. Э, а как ты с ней познакомился, давно?

Я улыбнулся:

– Давно. Мы переписывались еще школьниками. Друг из Советского Союза. Потом виделись, когда я был в Праге. (Рассказывать более детально я не стал.) В общем, хорошая знакомая.

– Ну, отлично! Так я ее увижу. А ты пиши письмо!..

Я написал той же ночью и на завтра отдал Карелу. А вскоре завершился кинофестиваль, и на прощанье мы поехали в известный в Москве пивной бар на ВДНХ. Посидели, впили по паре кружек. Выходя из бара, Карел приобнял меня:

– Москва – красивый город, и ты, Алексей, прекрасный парень, а пиво у вас – отвратительное. Это чистая правда, даже не извиняюсь.

Недели через две Карел позвонил мне в редакцию. Вот его речь:

– Я только что вернулся из Теплице с фестиваля Бетховена. Ну, прекрасно было! Познакомился с твоей знакомой, с Петрой Новаковой. Чудесная дама, только грустная как-то. Она очень удивилась, что у меня письмо от тебя, но взяла и повеселела. Я ей всё рассказал, как ты с тобой сошлись и прочее. Но главное, Алексей, туда же на фестиваль приехал мой друг из Австрии, да, тот самый, герр Курт Фогель, он ведь тоже журналист по искусству. Я ему всё сказал. Потом я ему читал твой текст вслух, переводя на немецкий, потому что он только так говорит. А Петра мне помогала, она тоже знает немецкий, но хуже меня. Это было у нее дома, она нас с Куртом пригласила. Курт сказал: хорошо, это очень хорошо, и сказал, он думает, всё получится, будет стараться, сказал, сообщит мне, как будет. Ты понял? О'кей! Если будет, я тебе тоже сообщу. Ты понял? И если всё о'кей, то будем соображать, как тебе это дать.

Я поблагодарил, и мы распрощались.

А дальше? Приходится признать, что чудеса бывают. Уже осенью, в сентябре, позвонил в «Известия» некий человек и с легким акцентом попросил встречи где-нибудь в центре или прямо у метро, а то он торопится. Мы встретились, он передал мне бумажный пакет и привет от товарища Карела Черны из Праги. Уже дома я вскрыл этот пакет. Там – два экземпляра журнала и лист с шапкой редакции вверху. Короткий текст на немецком: Петра Новакина уведомляют, благодарят и выражают надежду на новые публикации.

А о гонораре – ни слова. Вот жлобы, эти венские буржуи!

Теперь сам журнал. Не толстый, уютный. Называется «Hefte für zeitgenössische Literatur», что в переводе означает «Тетрадь (по-нашему, журнал или книга) современной литературы». Там мой рассказ, однако, на немецком. Название выглядит так: «Junge Alexander». Красиво, правда? И насколько я мог убедиться, рассказ дан полностью, без купюр. А внизу первой страницы, мелким шрифтом, та самая справка: откуда сей Петр Новакин и кто он.

Но это не всё. Там, где начало рассказа, на развороте слева – большая фотография, во всю страницу. Совершенство ужаса. То есть ужас запечатлен в совершенном виде – и жанрово, и технически. Танки на какой-то улице Праги, едущие по трамвайному пути, что-то горит, дым, кругом люди, хаос, кто-то с чешским флагом в руке подбирается к танку, чтобы на ходу взобраться на него, раскрытый в крике перекошенный рот. Фотография черно-белая, и это ужесточает впечатление, потому что всё там даже не черно-белое, а разные оттенки серого, мрачного, грязного. Вот такая картина. Сбоку маленькая строчка: «Photo Karel Tscherny».

Вот так. Рассказ советского Петра Новакина (вообще-то Алексея Симонова), фотография чеха Карела Черны, а журнал австрийский. Интернационал.

И что мне с этим изданием на немецком делать? Разве что Петре переслать в Теплице.

А советскую цензуру мы все-таки объегирили!

Удивительно или нет, но еще через годы случатся новые преинтересные истории, связанные с этим моим рассказом. Прямо судьбоносным он оказался, не иначе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1.

Президент США Авраам Линкольн однажды сказал: «В конце концов, важны не годы жизни, а жизнь в эти годы».

Совершенно верно. Это именно так, поэтому теперь, по прошествии лет, понимаешь, что слова «в конце концов» очень к месту.

Что было главным в жизни в те годы? События и наша реакция на них или внутренняя, личная жизнь? А в том-то и дело, что одно от другого не отъять, всё

оказалось взаимосвязанным, а то и выстраивалось причинно-следственной цепочкой. К сожаленью или к счастью? Не знаю.

Вот тоскуешь по женщине, ее нет рядом, она неодолимо далеко, в другой стране, а ты любишь ее всё больше. Это как, почему? Это ты такой или она – такая? Не знаю. Я знаю только, что она, нет, не то что честная (это не то слово), а цельная, категоричная. Есть свет, и есть грех. На последнее она не способна. Счастливая ущербная личность. Любить такую – обжечься святостью можно. Поэтому боязно приближаться. Вот и не приближаюсь – так у нас выходит.

Но почему тогда так выходит, что мы любим друг друга?

Вернемся в тогда.

Тогда был 71-й год, Московский кинофестиваль, знакомство с Карелом Черны, потом его знакомство с Петрой в Теплице на Бетховенском фестивале, потом эта история с отданным ему моим рассказом, потом, благодаря Карелу же, публикация рассказа с его фотографией за границей в Австрии, потом моя благодарность ему по телефону, потом пересылка журнала Петре в Теплице, потом Петра, ответив, поздравила меня, написав, что она счастлива (а за псевдоним отдельное спасибо!) и что она молодец, верно подсказав мне про «пробуй Запад», и что такой же экземпляр журнала она получила еще и от Карела из Праги, так что теперь она богатая мной и новым другом Карелом, вот только тоскует, а вообще – то жизнь идет, она преподает с удовольствием и даже играет на рояле, но только дома и только для себя, потому что пальцы, пальцы... пальцы до конца не стали прежними, чтобы играть по-настоящему, исполнять на публике, ездить, побеждать... Так настал следующий год, перед чем мы по традиции перезвонились – я в сочельник, Петра в новогоднюю ночь.

А потом она пропала. Точнее, пропали ее письма. Я написал одно письмо, другое, но ответов не получил. И забеспокоился. Решил позвонить, что, кроме как в Рождество, делал в исключительных случаях (деньги, деньги, ибо звонок за границу!). К телефону подошел пан Густав, сказал, что Петра позавчера уехала к друзьям в Прагу на недельку, поскольку сейчас в ее консерватории студенческие каникулы и в преподавании перерыв, но он обязательно передаст дочери по ее возвращении, что я звонил.

Ну, хоть так. Значит, ничего не случилось, а то, что Петра развеется в Праге, это хорошо. (Знать бы мне, что там будет!)

А после того я и сам пропал из Москвы. «Известия» направили меня в долгую командировку по стране для написания серии очерков под пока условным названием «Культурная жизнь на периферии». Я многое увидел и узнал, посетив Ярославль (тамшний театр имени Волкова), Куйбышев (Самару), Пермь (знаменитое балетное училище), Свердловск, Новосибирск и даже Хабаровск. В общем, широка страна моя родная, в этом довелось убедиться. Очерки, которые я писал в пути и гостиницах, а заканчивал после уже дома, получились вполне приличными, и я хорошо заработал, ибо командировочные плюс обычная зарплата, это раз, и премия на финале, это два. Но что более важно – я научился писать коротко, сжато, выделяя суть и не растекаясь по древу, поскольку всегда держал в уме заданный газетный объем. Это мне здорово помогло в дальнейшем, уже в личном творчестве, в прозе. Да, параллельно с журналистикой я писал для себя, однако «выход в свет» считал еще преждевременным; так я считал довольно долго, между прочим, и правильно делал.

Короче говоря, я долго отсутствовал в Москве, а когда вернулся, письма от Петры не обнаружил. И опять забеспокоился. Прождал еще две недели и – что делать! – опять заказал разговор с Теплице. И опять трубку снял пан Густав.

– Алексей, у нас беда. Петры нет, она уехала в Брно хоронить бабушку.

– Кветославу? – вырвалось у меня.

– Да, ее, мою тещу, царствие ей небесное.

– Ах, господи! А что – так вдруг?

– Не вдруг. Она болела весь последний год. Э, опухоль, но долго не шла к докторам, упрямая старуха, а уже из больницы позвонила дочери, пани Власте, и она сразу поехала к ней в Брно, в больницу, но вскоре... Э, вот Петра и помчалась туда. На похороны. На днях они вернутся, там еще всякие дела – ее квартира, кое-какие вещи, надо уладить. Я передам Петре, что ты звонил...

Да, вот как. Печально. Петра ее очень любила, очень, я помнил. Бабка ее многому учила в детстве и юности, всяким тайнам женским и вообще всеобщим, про любовь говорила – что и как положено, а что недопустимо, но всё это, насколько я знал, по христианскому ее разумению. Это ее разумение было твердым, непоколебимым. Потому и коммуниста-зятя недолюбливала, Петра мне рассказывала... Ладно, что ж, пусть земля будет ей пухом. Бедная Петра, не проходят ее горести: Прага в августе, перелом руки, «синдром Лю-Ши-Куня» в мягкой форме, потом борьба с непослушными пальцами, потом осознание того, что быть пианисткой уже не сможет, карьере конец, потом изгнание отца из ЦК, вынужденный переезд в тихий Теплице почти на краю страны, депрессия, потом смерть ее идола, ее божественной любви – кардинала Берана, и вот, только стала выправляться, становиться собой, как очередная беда – бабка Кветослава, бабичка, как она произносила ласково. Бедная Петра.

А ведь и меня нет с ней рядом, вот что еще плюс к вышеперечисленному. Как же она держится?

Знал бы я, что наша разлука плюс вышеперечисленное, это тоже еще не всё.

Не сомневаясь, что пан Густав, относившийся ко мне тепло, сообщает Петре о моих звонках, я ждал письма. И ждал еще почти месяц. Наконец получил. Привожу его в моей редакции, то есть с улучшенным русским и запятыми.

Мой Петер!

Я не должна тебе писать, но я пишу всё-таки. Кто, если не ты? Может быть, ты не отринешь меня, а о прощении говорить не буду, не имею права.

Так вышло, так уж сложилось, тот твой рассказ, из-за него всё и вышло. Ты познакомился в Москве с Карелом, отдал ему рассказ, упомянул обо мне, Карел приехал в Теплице на наш фестиваль, нашел меня, и мы познакомились. Потом мы с ним и с его австрийским Куртом Фогелем переводили ему на слух твой текст и были рады, что этот Курт положительно отозвался и пообещал, что напечатает у себя в Австрии. Так и случилось, слава Богу, и я очень этому рада, очень. А Карел мне понравился, он чистый человек, свой. Потом фестиваль кончился, и он уехал. А потом стал звонить мне вечерами из Праги.

Он не соблазнитель, он настойчивый мужчина, из породы честных завоевателей. По-чешски «Карел» означает «свободный мужчина». А он и есть

свободный: тридцать лет, а не женатый и, как сам говорил мне, не стремится к браку. Но, повторяю, честный, без игры с женщиной. Так мне показалось, и так и было.

Короче говоря, он стал звонить мне – сначала раза два в неделю, потом ежевечерне. Мне это нравилось, с ним было интересно говорить, он образованный и много знает, но главное, эти разговоры скрашивали мою тоску по вечерам, когда я возвращалась из консерватории после работы или из костела. Так мне было одиноко по вечерам! Одиноко в тихом доме, в тихом Теплице, после Праги, где, что ни вечер, то концерт, то я слушаю, то меня слушают, кругом музыка, общение.

И вот эти его ежевечерние звонки.

И вдруг он мне сказал, что влюбился в меня, и хочет, чтобы я приехала к нему в Прагу. Тут я спросила себя: а хочу ли я этого? Нет, поняла. И попросила Карела больше не звонить мне. Он: «Петра, у тебя кто-то есть?» И тут, наверно, я допустила ошибку, сказав «нет» (я никому не говорю о тебе, кроме мамы и папы, потому что ты – это только моё и никто не должен к этому прикасаться, а то, что мы с тобой близки, ему не пришло в голову – не догадался, ведь ты в Москве сказал ему, что мы с тобой просто знакомые, и всё). Вот он и решил, что я одна как женщина. Так и сказал: «Понял, у тебя никого, но если не хочешь, чтоб я звонил, не буду». Но на завтра позвонил опять.

Это длилось некоторое время: его звонки каждый вечер и моё сопротивление. Не знаю, как и почему, но однажды я не сладила с его мягкой настойчивостью и пообещала приехать в Прагу, тем более близилась зимние каникулы у моих студентов. И приехала. И всё произошло.

Вот потому я и не писала тебе, мой Петер. Как писать тебе, когда такое? Когда внезапный ураган, а уже через несколько дней – депрессия, смертная тоска. Я хотела покончить с собой, но Бог мой этого не позволяет, и страшно подумать, что, если б я сделала это, то меня, мое тело даже в храм не внесли бы и не отпевал бы меня священник по-людски, по-Божески.

Когда Карел позвонил мне после Праги, я сказала ему, чтобы он больше не беспокоил меня никогда, что я не смогла его полюбить за те ночи, а без любви я не могу, не умею, и что есть человек, которого я люблю, я ему жена, только не венчанная. И он больше не звонил. Я же написала тебе выше, что он нормальный, порядочный мужчина.

Но я грешна, и это терзало меня, терзает. Я грешна, я! Потому не могла писать тебе, мой Петер, и как жила тогда, сама не знаю. Очень тяжело жила.

Думаешь, это всё? Нет. Вскоре я заподозрила, что беременна. И это подтвердилось. Что ж, значит, так тому и быть, решила, потому что делать аборт, убить дитя в чреве мне вера моя не позволяет, и новый грех на душу я не возьму. Но Бог всё равно меня наказал. Еще через месяц у меня случился выкидыш: мама повезла меня в больницу, и там (или по дороге туда), это произошло.

Думаешь, наконец-то всё? Опять нет. Вскоре позвонила бабушка Кветослава из Брно, сказала, что она в больнице, опухоль у нее в желудке, мама бросилась туда, но после операции бабушка всё равно умерла. Вот так Бог наказал меня еще раз.

Я изменила тебе, согрешила, это первое, Бог отнял у меня ребенка, это второе, и взял бабушку к себе, это третье. Не много ли сразу?

Я тебе долго не писала – а почему? Я грязная и с отвернувшимся от меня Богом.

Теперь я сама поеду в Прагу, в Собор Святого Вита, к моему священнику, моему духовнику, чтобы открыться ему, спросить: можно ли мне отпустить сей грех? Не знаю, что он ответит. Он праведный и строгий, он просто так не отпускает, не прощает.

Вот и посмотрим, как выйдем, как дальше жить.

А зачем пишу тебе? Думаешь, каюсь, прошу прощения? Нет. Я не имею на то права.

Ты мне – как я сама, так перед кем мне душу выворачивать, как не перед тобой? Ты – всё, что мне осталось, если говорить о душе, о любви, о Боге, а не просто об общении с людьми, даже близкими, как мама и папа.

До свидания, мой Петер, я знаю, какую боль причиняю тебе, знаю. Я вспомнила, ты мне рассказал когда-то давно, когда мы жили в Собиновском, что однажды был с женщиной и как потом тебе было тяжело. Теперь я знаю: тяжело – это не то слово. Вот знаю, а пишу тебе все-таки. Слабая я, значит.

Ты не обязан отвечать мне. Как решишь со мной, так и будет, я всё приму, я обязана принять

всё. Даже если мой священник отпустит мне мой грех.

Твоя Петра. Если еще твоя, не знаю, как ты считаешь.

Мне вспомнилось. Как-то давно, размышляя о Петре, я сделал вывод: она не то что честная (это не то слово), а цельная, категоричная. Есть свет, и есть грех. На последнее она не способна.

Я ошибся, теперь ясно. Но ясно и другое: мы с ней как бы уравнились в греховности – однажды я изменил ей, теперь – она. Так почему я имею право отринуть ее, не простить, как она мне простила? Любить – это прощать, вот ее слова.

Надо прощать. Мучительный вывод. А вот не мучительный: надо спасать.

Мне! Надо! Петру! Спасать!

На третий день после получения ее письма я поехал на Центральный Телеграф. Подошел к нужному окошечку, спросил:

– Можно послать телеграмму в Чехословакию, в город Теплице?

Девушка переспросила: «Теплице?», полистала какой-то справочник, кивнула:

– Берите международный бланк, пишите. Только латинскими буквами. Если за границу, только латинскими.

– Отлично. А по-чешски можно?

Она глянула на меня как-то удивленно, поднялась, и я увидел сквозь стеклянную перегородку, как она подошла к столу в десятке метров отсюда, склонилась к сидевшей там женщине и что-то сказала. Та сняла телефонную трубку и тоже что-то сказала, потом переправила услышанное девушке. Когда она вернулась, я получил инструкцию:

– Пишите по-чешски, а внизу припишите в скобках то же по-русски. Только всё коротко, одной фразой.

Я написал:

Miluju te, vzdy az do konce roku. Peter

(Я люблю тебя, всегда, до конца. Петер)

2.

Вот и дожили до тридцати лет. Так летит наше время.

Не странно ли, мы познакомились по переписке, когда нам было по пятнадцать, а увидели друг друга шестнадцатилетними. Это было на Курском вокзале, где я встречал возвращавшихся из Сочи Петру с родителями. И тогда увидел ее впервые, живьем. Всю, от волос (длинной рекой, аж до середины спины) и до пят. Она жутко загорела там, в Сочи. На этом черном фоне ее зубы, когда она улыбалась, блестели, как у негритянки в кино (живых негритянок я тогда не видел). Она улыбалась мне. Она мне рада. Она меня любит, я это знал, чувствовал. Она даже не может скрыть этого от внимательных родителей! И ладно. Уже ничего не поделаешь. Серебряный бубенец в голубейших небесах звякнул вполне отчетливо. Мы любим. Это ясно. Уже ничего не поделаешь. Судьба.

Так мы встретились, и тех пор утекло почти пятнадцать лет. Поверить трудно, но придется. Судьба.

Вот только не простая судьба. Любовь мужчины и женщины по разные стороны границы. И там, и тут – социализм, причем, как выяснилось, попытки придать ему человеческое лицо активно пресекаются (танками и спецслужбами), а визы выдают сепаратно (кому да, кому нет и при определенных условиях) и вообще на интимную связь с иностранцами смотрят косо, браки с ними не поощряют, хотя особо настойчивым могут и соизволить, особо если они члены КПСС или КПЧ. Может быть, бежать отсюда, как говорил поэт, задрав штаны? А если родину любишь, если это – твой дом? Вот такая странная материя для непатриота. Да и нужны ли такие непатриоты в несоциалистической загранице, если женщина – бывшая пианистка с частичным синдромом Лю-Ши-Куня, а мужчина – обычный журналист и полуподпольный литератор?

Вот вам и ситуация. Хотя, если положить руку на сердце и прочие главные места, то, может быть, дело в том, что эти конкретные мужчина и женщина не особо настойчивые?

Итак, 74–й, нам по тридцать лет. После долгой регулярной переписки, вновь последовавшей, будто и не было того самого греха, мы наконец встретились – Петра приехала в Москву. Удивительно, но ей выдали гостевую визу, по приглашению, сроком на месяц.

Было начало сентября. Я хорошо подготовился: загодя наметил отпуск на этот месяц и даже, с помощью папы, конечно, снял на время однокомнатную квартиру в начале Профсоюзной улицы, у метро «Академическая». Там мы с Петрой и обосновались, довольные собственным жильем, приятная особенность которого состояла в наличии пианино. Я потому и выбрал именно эту квартиру, хотя были варианты поближе к центру.

Запомнилась первая ночь. Мы заснули только под утро – много любили и много говорили. В перерыве между этим я попросил:

– Петра, сыграй мне!

Она засмеялась:

– Сейчас? Соседей разбудим, ночь!

– И хорошо, что ночь. Как раз для «Лунной сонаты».

– Ой, нет луны, нет, посмотри! А соната эта – она такая печаль, не надо ее, Петер.

– Да, печаль. Мне думается, это даже не соната, а реквием по несбывшейся любви.

– Так, так, если не о форме, а чувстве. Маленькая графиня, шестнадцать лет, Джульетта.

– Я знаю.

– О, хорошо! Да, Гвиччарди, наша соседка по бывшей Австро-Венгрии. Бедный Бетховен!

– Я как-то подумал: не было бы той несчастной любви, не было бы «Лунной».

– О, так! Часто так бывает в жизни. Кому или чему творцы обязаны своими произведениями, только они знают.

Мне тут же пришло на ум: не было бы моего рассказа, не было бы возникшей потом ситуации под названием «Карел и Петра». Аналогия, только с обратным знаком: там – несчастье стало причиной произведения, здесь – произведение стало причиной несчастья. Но вслух эту мысль не выразил, конечно.

– Тогда сыграй любимого Шопена.

– Завтра, Петер, я так хорошо устала, благолень.

– О, это что-то новое в русском языке!

– Ну да, но всё ясно: благо и лень. Ты дал мне благо, а у меня от то е лень в теле... Играю завтра, хорошо? А и вот: я уже давно плохо играю на четвертой и пятой... э, ну на крайних октавах справа. Два пальца мои деревянные! То е не исполнение, а только как педагог. Педагог – еще можно. Хотя мой Лев Николаевич, он...

– Брось, Петра, я уверен, ты здорово играешь, а Оборин, такой один.

– Был один, был, – вздохнула она. – Он умер совсем недавно, ты знаешь?

– Знаю, в нашей же газете читал некролог. Да, жаль.

– Очень. Какой был! Царствие небесное. Божеская музыка под его пальцами... Э, ладно, давай о другом. Давай наоборот – ты мне своё почитай. Я буду слушать, а ты читать мне. Что написал, Петер?

Я призадумался. Ладно, почитаю, а что? Тут, в этой временной квартире, при мне почти ничего, кроме... Вот и решил:

– Пишется у меня одна повесть... еще не закончил, но там есть эпизод... Вот, давай его прочитаю, послушай. Рукопись при мне, здесь.

Из оккупированного у хозяина письменного стола я извлек листы, опять прилег на диван к Петре, потом нашел нужное место.

– Значит, маленький эпизод, даже отрывочек из него. Телефонный разговор, она и он, она – Полина, он – пока без имени, скажем икс-икс. Начинаю.

– *С этого наступившего года, ура-ура, я опять один! – получилось у ХХ почти весело.*

В ответ заинтересованная пауза и вопрос:

– Ты ее выгнал?

– Ну, скажем, так: предложил расстаться. Хотя получил по морде.

На это не слишком разговорчивая Полина тут же среагировала, но по-своему:

– Больно было?

– Не очень.

– Жаль.

– Ты гуманистка!

– *Оставь! Так почему ты ее... ладно, не выгнал, а предложил ей расстаться?*

– *А я ее напрямую спросил: почему ты уверена, что беременна от меня, если продолжаешь спать с мужем на одном диване? Она открыла рот, потом округлила глаза и... ну, размахнулась и врезала мне по физиономии.*

– О, здорово, молодец! Она – молодец. И что ты теперь?

– *Теперь я один. Она ушла – и чудесно! Из этого всё равно ничего бы не вышло. Она меня обманывала. Продолжала спать с мужем, а уверяла, что только со мной. Теперь она непременно сделает аборт, но на сей раз за это придется платить не мне, а ее мужу.*

Полина опять помолчала, а потом изрекла:

– *Ужас всё это, безбожно! Аборт, деньги на убийство зачатого дитя! Э, а ты уверен, что прав... ну, про нее, твою даму?*

– *Прав, прав, – успокоил ХХ, потому что, к сожаленью, знал много больше, чем сказал. И еще он знал (и вот тут к счастью), что Полина, несмотря на ее сегодняшний ироничный тон, не способна не то что на аборт, но и на житье в параллельном режиме – с мужем и любовником, причем уверяя последнего, что любит только его и скоро обязательно разведется. Такие обещания от той «дамы» ХХ слышал в течение целого года. Нет, правильно, что я расстался с ней, утвердился он в своем поступке...*

– Ну, вот и всё. – Я отложил листы.

Петра молчала с минуту.

– Я поняла, – наконец проговорила тихо. – Поняла твой русский. Я еще не так хорошо говорю, а понимаю всё, и с голоса, и когда читаю русские книги. Я всё поняла. Но не поняла, почему ты читал мне это. Ну, вот это, это! Почему?

– Почему именно это? А вот почему. Потому что ты – такая же, как та Полина. Ты не способна убивать, лгать, вести двойную жизнь. И я на двойную жизнь не

способен. Я – это только ты. Оказалось – так, я это понял, когда раз случилось. И ты так же поняла. Мы с тобой из одной воды, мы одинаковые, и даже в этом.

– Мать Божья, и как ты терпишь, мой Петер? Ну, я женщина, а ты мужчина, и как ты терпишь, если ты и я вместе так это редко, так редко!

Я усмехнулся:

– Очень просто терплю. Каждую ночь представляю это, пока не усну. Представляю, как мы с тобой. Вижу твоё тело, потом вхожу в него. И так добираюсь до твоей души. И тогда я – дома. И засыпаю.

Она обняла меня и вдруг засмеялась тихонько, озорно:

– И я тоже так, и я! Каждую ночь представляю это. Тебя. Вот ты целуешь меня, вот... э, ласки делаешь, а я голосом отвечаю, вот идешь в меня... О Боже, как это сладко, даже вдруг холодно, и жарко потом, горжи.

– Пожар, – поправил я.

– Да-да, пожар, верно – пожар. И мне потом хорошо. И потом – спать, спать.

А, вот и опять повод вернуться к давно обсуждаемой теме:

– Мы с тобой уже много лет делаем так. Не пора ли быть вместе, наконец, всегда? Пора, Петра.

– Ой, как пора! А как? Ты думал?

– Конечно. Я тебе уже предлагал вариант, если не наилучший, то оптимальный. Приедешь ко мне навсегда, станешь мне женой, получишь гражданство. А жить? Будем снимать квартиру, вот как сейчас. Деньги – да, но нам помогут родители. К тому же нам с тобой не так много надо, жить можно скромно.

– Скромно – то е нормально мне, то е не есть беда, – закивала Петра. – Беда – как и где мне работать. Где?

– Начнешь с консерватории. Придешь туда, скажешь – заканчивала ее, ученица Оборина, расскажешь о себе, покажешь дипломы и прочее, рекомендации всякие, награды, ну и попросишь, чтоб взяли преподавать.

– Петер, ты плохо разумеешь тот мир! Это нет шансов. Московская консерватория – это... храм!

– А Пражская консерватория не храм?

– Тоже да, но не такой. Такая культура у вас! Я не понимаю, как страна твоя может? Такая культура, музыка, литература – и такая власть! Как это сразу? Не разумею, не понимаю.

– Верно говоришь! Рассуждать на эту тему – наша традиционное кухонное занятие. Это и есть русское государство – что эпохи империи царской, что империи советской. Особый путь – сочетание противоположностей, совмещение несовместимого. Нигде они не совместимы, только здесь. Вот и герб российский был такой же, знаешь? Двуглавый орел! Две башки – и в разные стороны повернуты, одна на Запад, другая на Восток. Как сказал один прошлый политик, мы не Азия, и не Европа, мы – Азиопия. Так во всем. Поэтому у нас высочайшая культура интеллектуалов спокойно уживается с величайшей дикостью, варварством, архаичной любовью к мифам. Вот коммунизм, это что? Миф. И большинство народа в него верит. А будешь возражать, противиться, тогда – агрессия. Агрессия и на своих, и на вассалов. Последнее ты видела наяву, проходила, знаешь.

Петра кивнула:

– Знаю. – Огладила меня и спросила: – И ты хочешь звать меня сюда? Сюда? Навсегда? В жизнь, как ты сказал, под орлом с двумя башками в разные стороны? Как это... в совмещение несовместимого?

Что отвечать на крайние вопросы? Лучше любить. Еще есть силы и рассвет не настал. Наша ночь.

В совмещении несовместимого – высокого искусства с варварством и дикостью – удалось убедиться очень скоро. Петра потом то хохотала, то чуть не плакала. Эта трагикомичная коллизия вошла в советскую историю над названием «Бульдозерная выставка». И мы с Петрой там были, лицезрели. Можно сказать, повезло: воспоминание на всю жизнь! Это случилось 15-го сентября 74-го.

Накануне вечером позвонила мама, сказала, что меня разыскивают мои «Известия», что-то срочное. Я еще чертыхнулся: человек же в отпуске! И вообще я с Петрой! Пошли они к черту!.. Но снял трубку и домашний набрал номер коллеги по отделу. Тот горячо заговорил: «Старик, как хорошо, что ты в Москве, а не уехал куда-то! Намечается чудо! Завтра, в выходные, будет выставка под открытым небом, за метро «Беляево». Неформалы, авангардисты – ну, те, кого Никита называл «пидарасы». Как власти отреагируют? Мы туда обязательно едем! И на их живопись глянуть, и вообще что и как будет. Поехали с нами, старик, не прогадаешь!»

Выяснилось, что это – в самом конце Профсоюзной улицы, на которой мы с Петрой сейчас обитаем, и ветка метро наша. К тому же действительно интересно. Почему бы не поехать, пусть моя любезная иностранка посмотрит на наш полуподпольный эксклюзив под открытым небом.

И мы поехали. И это было действительно чудо, мой известинский приятель оказался прав.

Хмурое небо, самодельные стенды, на скорую руку поставленные стойки, козлы. Ну, сама живопись – это отдельная тема, и сейчас обсуждать ее не будем, хотя, удивительно, Петре кое-что очень понравилось, например, картины неизвестных нам Жарких и Немухина. Народу набралось не так много, но достаточно, в основном, конечно, интеллигенция, художники, их друзья, а еще журналисты, в том числе зарубежные. Ходили, переговаривались, что-то обсуждали с художниками, авторами картин. Но не долго. Вскоре появились чужие, причем в большом числе: милиционеры, сотрудники КГБ – молодые ловкие ребята с хорошо поставленной техникой боевых искусств. Начался разгон.

Однако это только начало, а вот вскоре! Изюминка состояла в прибытии «вспомогательной техники» – поливочных машин и бульдозеров. Они крушили всё, давили картины и то, на что они были поставлены. Грохот, треск, крики. Мы побежали и, спасибо, не пострадали, а вот некоторым художникам и зрителям здорово досталось от погромщиков. То есть люди получили, если грамотно выразиться, тяжелые телесные повреждения. Еще я успел заметить, как уничтожают поверженные картины: теми же бульдозерами, потом огнем (сваливали в кучу и поджигали, облив бензином). Гарь, дым в небеса.

Журналисты охотно фотографировали, особенно иностранные. О, какой материал – действительно эксклюзив, на первые полосы! Новое подавление инакомыслия в СССР! А что – именно так...

Мы с Петрой вернулись к себе домой целыми и невредимыми, но с массой впечатлений. Хохотали, сокрушались, а Петра, как я уже упомянул, даже

всплакнула, но больше она злилась, конечно, и я ее успокаивал. Вот такой выходила ее поездка в Москву к любимому мужчине.

Впрочем, на этом наша «культурная программа» не исчерпалась. Мы побывали на Таганке, на «Гамлете» (конечно, билеты достал отец), и Петра была потрясена уже известным ей Высоцким (я тоже догадывался, что увиденное и сам Высоцкий-Гамлет – это событие), потом два раза посетили консерваторию – органнйй вечер Гарри Гродберга (знаменитая фуга соль минор Баха), затем концерт скрипичной музыки. Там мы не могли не вспомнить нашу бывшую соседку, скрипачку Люшку – как она, что делает в своем китайском коммунистическом раю, играет ли?

Что еще? Понятно, раза три приезжали к моим родителям, хорошо общались, выпивая и закусывая, обсуждали всякое (кроме одного – наших с Петрой планов на будущее, хотя я заметил, как мама завлекла ее в спальную и там они о чем-то шушукались). Мне было приятно, что отношение к моей Петре стало родственным, просто домашним. Свой человек, и всё. Это прекрасно, но я всё-таки думал потом, кто тому причиной: мои родители или Петра? И понял: конечно, она. Да, мама с папой – люди нормальные, доброжелательные, но открытая, бесхитростная, красивая Петра не могла их не покорить. А то, что иностранка, да еще с поломанной карьерой, поначалу обещавшей стать блестящей, ну так это же наш сын когда-то влюбился в девочку из далекой Праги, влюбился, и оказалось, это его судьба...

3.

Мы переписывались, а через несколько месяцев, как раз в ходе традиционных звонков под Новый год, я услышал, в числе прочего, следующее: «Э, мой Петер, вот что. Я тебе письмо написала вчера, там тебе... э, информация. Но не... не грустная, не беспокойся за меня».

Через десять дней я ознакомился с этой, как сказала Петра, информацией. По привычке привожу письмо в своей редакции.

Мой прекрасный Петер!

Не буду говорить о другом – только о главном.

Я решила, когда была с тобой в Москве: хватит, пусть будет, как Бог даст. И Бог дал: во мне наше дитя, Петер! Уже три месяца. Я почему не писала тебе раньше? Я боялась – вдруг опять выкидыш? Зачем же тебя беспокоить, причинять боль!

Когда мне подтвердили беременность, мы с мамой поехали в Прагу, к докторам–гинекологам в клинику ЦК (это папа договорился по старой памяти с кем-то из своих бывших, ему помогли по-тихому), и меня посмотрели, потом уложили на три дня, сделали анализы, всякие обследования – и всё хорошо, никаких отклонений в моем организме. Пообещали, что так всё и будет, ничего не должно случиться.

Вот, я вернулась в Теплице, встала на учет и наблюдение к нашим гинекологам (тут хорошая больница и роддом с женской консультацией), теперь живу и жду. Мне чудесно. Я счастлива. Ребеночек, дай Бог, родится в мае-начале июня, то есть еще пять-шесть месяцев. Вот так, мой Петер, я молодец, правда?

Я правильно сделала? Ты счастлив? Я надеюсь – да.

Петер, мне тридцать лет, пора, давно пора. Как без ребенка, не по-Божески. А к тому же это ребенок от самого любимого мужчины, единственного моего, который на всю жизнь. Я правильно сделала, правильно. И оттого люблю тебя еще сильнее, а куда уж сильнее!

И всё у меня хорошо (ой, не сглазить!). Совсем не тошнило, сил много, только днем спать тянет. Но я нормально хожу в консерваторию, занимаюсь с учениками, потом иду в костел, ставлю свечку. Почти каждый день так делаю, молюсь Святой Деве, чтобы Она дала мне дитя, как сама дала всем нам дитя своё – Иисуса.

И дома всё хорошо. Мама мне помогает, чтоб тяжести не поднимала и прочее, а папа совсем нежным стал со мной, говорит – внука хочу. Я ему: твой внук будет от советского человека, а он смеется: а пусть так, только не коммунист, а нормальный католик.

Ну уж католиком он будет, это точно! Мы его окрестим вскоре же, и крестик наш оденем на шейку – всё как положено.

Ты, мой Петер, кого хочешь – мальчика или девочку? А мне хорошо повсякому. Только прошу тебя: если мальчик, то назовем его Йозефом, в честь кардинала Берана, святого человека, мученика, а если девочка, то в честь бабушки моей покойной, – Кветославой, Кветой. Ты как к этому относишься? Хорошо бы так. Но если ты против, если у тебя другие варианты, то скажи какие, я возражать тебе не буду.

Петер, я такая счастливая теперь, а ты?

Ты подумай: вот нет тебя со мной, нет пока, а скоро, уже в мае или июне, будет со мной кто-то от тебя, твое дитя. Наше дитя.

А тут у меня в Теплице ему будет привольно, хорошо. Тут очень чистый воздух, зелено, горы близко, тут тихо, и квартира у нас большая, даже свободная комната есть, теперь она будет детской – как хорошо! А я всё думала раньше: для чего нам пустая комната? Вот для чего! Вот для кого!

Петер, напиши мне сразу, я буду ждать твоего письма.

Целую тебя. Теперь я – не просто я, а будущая мать твоего дитя. О, чудо, чудо!

Твоя Петра.

Назавтра я опять поехал на Центральный почтамт. Тест телеграммы был таким:

Jozef i Kveta to e krásne je podivné Peter

(Йозеф и Квета это прекрасно, чудесно. Петер).

После того как я сообщил родителям о беременности Петры, то в шутку погрозил маме:

– Что, твоя работа? Помню, как вы с ней шушукались!

– Нет, Лешка, ребенок – это твоя работа, твоя! А я... ну, обсуждали тему, было дело, да.

Понятно. Теперь я обратился к отцу:

– Хочу уведомить тебя, что твой внук будет католиком. Или внучка.

В ответ – смех:

– Знаешь, как это называется? Прогрессивная эволюция! Смотри: отец – коммунист, сын – антикоммунист, внук – католик. Интересно, кем будет правнук?

– Дай бог, не китаец! – прорезался у мамы политический юмор. (После военных событий 69-го года на острове Даманский многие поговаривали о растущей гегемонии многомиллионного Китая.)

– Очень актуально! – тут же принял пас отец. – Вскоре они поглотят Сибирь, потом Европу и, как татаро-монголы, будут оплодотворять белых женщин.

– Типун тебе на язык! – отмахнулась мама.

– А что – может, женщины возражать не будут? Женщины ведь!

– Женщины бывают разные, – назидательно заметила мама.

Уж это точно.

4.

И каждый последующий день похож на предыдущий, и так длится время.

День как год, и год как день. Если бы не некоторые события, то вполне справедливое утверждение.

Это в Москве, это во мне. В Москве второй половины 70-ых – как в законопаченной бочке, плывущей по морю-океану: ты внутри, мерно покачивает, снаружи ничего не слышно и никого не видно. Правда, бочка подгнивает, разъедаемая морской солью, но ты этого не знаешь. Какой-то чудик, живущий в твоей бочке, умудрился смастерить странное устройство и говорит, что ловит эфир. Говорит, где-то война. И что – если даже так, она не в твоей бочке. Еще говорит, узнал про тебя (то есть меня). И что, спрашиваю, узнал? А вот, говорит чудик, у тебя дочь родилась, но не в нашей бочке, а где-то, где-то...

Петра родила дочь, 10-го июня. Позвонил пан Густав из Теплице, сообщил, поздравил. А я его. Он сказал: «Вернется из роддома Петра, и вокруг меня – женское царство, сразу три пани. Это прекрасно, но даже выпить не с кем, отметить событие – приезжай, разбавишь компанию». Я пообещал.

Теперь у меня Квета – Кветослава, если полностью. Кветослава Алексеевна. Или как, Петра запишет ее «Кветослава Петеровна»? С нее, Петры, станется. Или там, у этих католиков, без отчества? Бог их ведает.

Я счастлив, Петра счастлива. Я знал об этом – о счастливом ощущении отцовства – только теоретически. Нет, теоретически – это совсем не то. Это будто кто-то родился у твоего соседа. Поздравил соседа, поулыбался ему, пришел к себе – и забыл. А тут не забудешь, хоть и пришел к себе. Тут с этим засыпаешь и пробуждаешься, идешь на работу, работаешь, едешь домой – и улыбаешься, но только не соседу, а себе. Вот такая штука. Теперь каждый последующий день вроде не похож на предыдущий, хотя в твоей бочке ничего не изменилось. Странно это.

В твоей бочке ничего не изменилось, это где-то, где-то, и тогда почему же что-то изменилось в тебе? Странно это.

Вскоре звонит Петра, говорит радостно, а ты злишься, что сейчас не с ней, с ней и дочерью, на себя злишься, на страну – да что толку!

Так текут теперь твои дни. Так текут дни Петры. У тебя они текут никак (то есть как обычно), у нее – только поспевай. Но мама помогает, а еще и няня, которую нанял отец. Всё в порядке, успокаивает Петра в письмах, всё хорошо, в рамках стандарта, как сказали ей педиатры, девочка нормально развивается, только кричит громковато, добавляет, сильной и требовательной будет, это, Петер, не в тебя, а в меня. Чепуха, отвечаешь, какая ты требовательная, а то, что сильная, это, пожалуй, да. И верно: разве смогла бы несильная так любить? Так – терпеть годами отсутствие любимого мужчины днями и ночами, но любить только его. С шестнадцати лет, а теперь ей немного за тридцать. И сколько еще пройдет лет в этом самом «любить только его»? Много – чтобы выполнить записанное в последних строках Протокола: «И будешь следовать за ним, и в старости его и болезни его ходить за ним, и выносить смрады его».

В очередном письме я получил первые фотографии дочери. Ей полгода. Удивительное зрелище.

Маленькое, кругленькое, темненькое. Ни на кого не похожа. Ну, если уж и похожа капельку, то на Петру все-таки. Темненькая – почти брюнеткой будет, как и мать? Хорошо, пусть так. Только чтобы такая же красивая.

А сама Петра? Глаза усталые, хотя улыбается счастливо. И волосы длинные приглажены, откинута со лба – похоже, в пучок сзади собраны. Временно или как? Я любил, когда волосы у нее свободные, рукавами реки вниз по лицу, с длинной узкой мелью посередине – часть лба, нос, губы, а ниже – чтоб на плечи падали. И чтоб ночами, когда она сидит на мне, чтоб они казались совсем черными, как южное небо, а эта чернота неба лежала на ее чуть светящихся во тьме плечах, а когда она сидит на мне, но спиной, чтоб они струились по ее спине при движениях вверх-вниз. Так я любил глядеть на нее, глядеть и одновременно с этим ощущать влажный жар внутри ее тела. Несомненно, вот так, в одну из таких ночей, и случилось нам, неведомо для себя, стать истоками новой жизни, когда что-то наше соединилось. А что это что-то? Души, конечно. Выходит, соединение душ и есть исток следующей жизни?

Ну, хватит философствовать – есть реалии. Вот на фото Квета одна, сидит, прислоненная к спинке кресла. Вот она сидит на руках у сидящей в том же кресле матери. Вот всё семейство вместе: дед, бабушка, Петра с Кветой на руках. Святое семейство. Лишь папаши не хватает, меня.

Хорошие фотографии, только маленькие, это понятно – чтоб в конверт уместились. Ладно, пока переживем, но надо попросить, чтобы кто-то сделал большие, тридцать на сорок, а потом на стенку повесить над письменным столом. Ночь, пишешь, пишешь, творишь очередную вещицу прозы, а чуть оторвешь глаза от листа, глянешь – вот твоя любовь, Петра, и вот твоя любовь, дочь.

Теперь их двое. Петра и Квета, большая и маленькая, твои женщины, иконы твоей любви.

В очередном письме (кажется, уже в 76-м году) Петра сообщила, что разговаривает с Кветкой на двух языках – родном чешском и родном для ее папы русском. Нет, в основном, конечно, на чешском, но часто и на русском. Придумала

дубляж: указывает дочке на что-то и произносит название сначала так, потом эдак. К двум годам, кажется, Кветка как-то уразумела, что всё окружающее имеет двойное название, и вообще весь мир, каждая его отдельность, называется по-разному, и мама с бабушкой то так говорят, то эдак, вот только для бабушки мир вокруг одноназванный, то есть одноязычный.

А вот папа, невидимый папа, который живет в телефоне, он тоже говорит на одном языке, на другом, чем бабушка, но на том, как умеют мама и бабушка. Интересно, да? Но скоро – будто так и надо. Уже даже не то что интересно, а привычно. Вот только невидимый папа приходит жить в телефон редко, и мама говорит про какие-то деньги, поэтому нельзя звонить ему каждый день. То есть, если снять трубку, то папы там чаще всего нет, а иногда – он там. Мама зовет: «Квета, быстро, папа пришел в телефон, иди сюда быстро, ну давай, скажи: папа, агой, добри дэн! А теперь по-русски: папа, привет, здравствуй!»

Папа, который живет в телефоне, вполне доволен дочерью и ее мамой. Вот только что они не вместе, не доволен.

А в 77-м – еще событие, уже мое личное: переход на новую работу. Не то чтобы мне надоела жизнь в «Известиях», то все-таки какой-то застой. А тогда везде цвел застой, вот и у меня тоже. Та самая законопаченная бочка, плывущая по морю-океану, которая подгнивает, разъедаемая морской солью.

Опять поспособствовал папа. Был у него приятель, дипломат, объехавший много стран, а потом ушедший из системы МИДа и осевший в журнале «Вокруг света». Там он пописывал про всякие исторические события, разные страны и про тамошних, когда-то знаменитых, личностей. Поняв, что я затосковал в «Известиях», папа как-то поговорил обо мне с этим приятелем. Тот предложил встретиться – чтобы я приехал к нему, ну просто потолковать, а там посмотрим. Почему бы и нет, подумал я – и поехал в редакцию «Вокруг света».

Сели в его кабинетике, сначала речь шла обо мне: о чем писал в «Известиях», чем интересуюсь, что увлекает, имею ли навыки редакторской работы. Потом он стал рассказывать о своем журнале, и небезынтересно, между прочим. Тираж сейчас – два с половиной миллиона, а спрос всё растет. Что публикуем? Новые взгляды на известные исторические события, рассказы о знаменитых людях и их судьбах, даем информацию о новых научных открытиях и достижениях. Главное – это репортажи, специально для журнала. Нравится? Ну да, покивал я.

Конечно, продолжал он почти по-свойски, демократичность нашего журнала обязана уживаться с положенным политесом, генеральной линией партии. А именно: информация о зарубежных странах – это как бы взгляд сквозь щель в железном занавесе, но при этом нельзя забывать о разоблачениях козней ЦРУ, о дискриминации чернокожих в США и прочее подобное. То есть журнал должен балансировать на этой зыбкой грани. Понятно? Разумеется, опять кивнул я, обучен в «Известиях».

Вот и хорошо. Едем дальше. Тут он заговорил о литературном приложении к «Вокруг света», и я оживился. Речь шла, конечно, об известном мне «Искателе», в котором прежде удалось прочесть классных фантастов – Брэдбери, Шекли, Азимова, Лема и других мастеров этого жанра, в том числе нашего Кира Булычёва. А в чем тут работа? – заинтересовался я. Как в чем? Отбирать, доставать, договариваться с авторами или с теми, кто их там (там) публиковал, потом, когда материал уже у тебя, редактировать, готовить к публикации. Кроме фантастики, всякие приключения, путешествия. Тут уж надо заказывать очерки разным известным людям, нашим и

зарубежным. В общем, не соскучишься. Ты с техникой редакторской правки знаком? Отлично. Стиль чувствуешь, стиль чужого автора? О, это очень важно: нырнуть в чужой стиль, прочувствовать его так, чтобы на момент работы с текстом он стал как бы твоим. Это наработка мастерства, это профессионализм, и это, кстати, здорово помогает в собственной работе, в своем писании, своей прозе. Ты же пописываешь, как ты мне доложил. Вот и чудесно – пригодится тебе лично. Кстати, принеси мне что пишешь – интересно глянуть.

Короче говоря, этот бывший дипломат, приятель отца, мне понравился. И в редакции понравилось, особенно когда вышли в общую комнату испить чаю. Умные разговоры, с хохмами, как-то просто, по-домашнему. Напоследок мне напомнили, чтобы не забыл принести кое-что из своего творчества, а потом мне или отцу позвонят, наш домашний номер телефона, конечно, имеется.

Что на финале? Через месяц я стал сотрудником журнала «Вокруг света», а конкретно, одним из редакторов его приложения «Искатель». Между прочим, этому поспособствовало благоприятное впечатление от двух моих рассказов, принесенных бывшему дипломату. Кстати, одним из них был рассказ «Молодой Александр», но о том, что он опубликован в Австрии, на немецком и под псевдонимом, я, понятно, не сказал. Вот так мой «Александр» опять сыграл роль в моей судьбе, и это, скажу еще, забегаю вперед, не в последний раз.

В зарплате я почти не проиграл, а в интересе, кажется, выиграл, о чем и сообщил в письме Петре. Она поначалу удивилась: зачем я покинул престижные «Известия» и ушел «в куда-то»? Так она написала потому, что о существовании не менее престижного «Вокруг света», а тем более «Искателя», понятия не имела. Ну, иностранка – что с нее взять!

Началась работа в «Искателе», и мне это нравилось. Загружен я был не слишком, поэтому не уставал и мог писать своё. Не на службе, конечно, а дома. Приятно то, что одно с другим как-то соприкасалось: и там, и здесь в основе – язык, словесность, литература, пусть и разных жанров. Но – язык. Это очень хорошо.

И еще хорошо, что, помимо собственно редакторской работы, была возможность читать интересные рукописи – и те, что готовились к публикации, и те, которые «в отвале».

Еще – разные встречи, в их числе тоже интересные. Одной из них стало знакомство и последующая дружба с Кириллом Булычёвым, который довольно регулярно печатался в «Искателе» как автор-фантаст и как переводчик фантастики с английского.

Он был на десять лет старше меня, но как-то мы с ходу приглянулись друг другу, и потом я даже бывал у него дома на Тишинке, иногда получал в подарок новую вышедшую книгу с дарственной надписью (одну из них под названием «Девочка, с которой ничего не случится» я попросил надписать дочке Квете и затем послал ее бандеролью в Теплице). А когда в 78-м вышла моя повесть в «Дружбе народов» (первая публикация в родной стране!), я тоже подарил ее Киру и, прочитав ее, он отозвался очень положительно, сказав, что, во-первых, не ожидал (ну, всего лишь редактор в «Искателе»), а во-вторых, и главное, он так писать не умеет, то есть так стилистически чисто и так глубоко. Я принял комплименты с пониманием того, что он – человек деликатный и несомненно хочет подбодрить начинающего писателя. (Кстати, Кир Булычев – это псевдоним, а вообще-то он Игорь Можейко.)

Послал этот номер журнала с моей повестью и Петре. Она приняла дар с радостью, но особо приятным стало то, что ее оценка оказалась не

комплиментарной, а раздумчиво-аналитической (несмотря на несовершенное изложение на русском). Да, написала она в заключение, это успех, успех, но ты подумай, подумай, может быть, я и права (это касалось замечаний – понятно, не по стилию, а по сути).

Я подумал. Нет, она не права, но то, что ей удалось зацепить главную мысль автора и серьезно поразмышлять над ней, это дорогого стоит для двух меня – Алексея Симонова, писателя, и Петера, мужа невенчанной Петры, отца ее дитя.

Тогда же, в 78–м, нашему дитя исполнилось уже три года, и я, продолжая оставаться папой, который живет в телефоне, уже мог общаться с Кветкой в режиме диалога. Это было презабавно и трогательно. Дочь излагала мысли вполне понимаемо для русского папы, и я не мог не отметить заслугу Петры в этом деле. К тому же, как она говорила мне, пан Густав тоже охотно общается с внучкой на русском. Чудеса в решетке!

Всё было хорошо, да только на вопрос дочери, когда я приеду к ней и маме, четкого ответа пока не было (кто же мог знать о грядущей «перестройке» и воследовавших послаблениях в визовом режиме?).

А в тот год случилась история, от которой поначалу можно было, говоря по-простому, рехнуться. Ах, Петра!

По почте пришла большая плоская бандероль. Там – две фотографии, давно ожидаемые мной «тридцать на сорок»: первая – трехлетняя Кветослава, вторая – она же вместе с матерью. Две мордашки, любовно прижатые друг к другу. Чудесно! И главное, отлично сделано, явно профессионально. Вот в этом последнем всё и дело, как выяснилось из приложенного письма.

Мой Петер!

Наконец наши большие фотографии, как ты это просил. А здорово вышло, да? Кветка – просто красавица, да? А глазки какие умненькие, да? Ты повесишь это на стену, как хотел? Ну, я рада, теперь мы хоть так с тобой.

Я могла бы тебе не рассказывать, как задумались эти фото, но я расскажу, потому что всё прекрасно и ты поймешь, что всё именно прекрасно, что нечего тебе и думать о чем-то нехорошем.

Мне позвонил Карел из Праги. Просто так: привет, как жизнь? Я ему всё рассказала, причем с удовольствием: что родила дочь, ей скоро три года, я счастлива. Он поздравил меня и спрашивает, когда я вышла замуж и кто муж, если не секрет. Да, какой секрет, говорю ему, мой муж – Алексей Симонов из Москвы, тот самый, рассказ которого ты, Карел, привез оттуда, а потом передал твоему другу из Австрии, и рассказ там опубликовали, помнишь? Он поначалу не поверил, но я его убедила. И спрашивает: а где он, Алексей, твой муж? Я говорю: он пока в Москве, а со мной – наша дочка. Но он придет, и мы будем вместе. Карел опять поздравил и вдруг говорит: «Я рад, что ты так, что мы остались друзьями, я скоро буду в Теплице, опять на фестивале Бетховена, очерк делать для газеты, можем увидеться, я тебя снимаю, а хочешь, и дочку твою сниму, у меня классная камера, я фотографировать умею, ты знаешь».

Вот так, мой Петер, и вышло. Приехал Карел, мы встретились, были на фестивале, потом я пригласила его в гости, он пришел, мы хорошо посидели вместе с мамой и папой, а потом он делал фотосессию – долго возился со светом

и снимал, снимал, щелкал, и так, и эдак, и по отдельности, и всем составом вместе с родителями. А через две недели я получила по почте эти фотографии. Молодец Карел! И знаешь, у меня к нему спокойное доброе чувство – как к другу, правда. Он мне всегда нравился: хороший, умный, свой, порядочный. Он же тогда не знал, что у меня есть ты, Петер, ты как не просто знакомый, а я, если помнишь, ему не сказала.

Поэтому он наш друг. И тебе Петер, поверь. Он много о тебе спрашивал, передавал привет, и я видела, это искренне. Я даже думаю, ты мог бы позвонить ему, поблагодарить за фотографии. Но это решать тебе. Хотя не знаю, есть у тебя его пражский телефон, домашний. У меня есть, поэтому, если надумаешь, напиши мне, и я тебе вышлю.

Всё хорошо, мой Петер, мы с Кветкой очень-очень любим тебя, папу, который живет в телефоне, но который скоро к нам приедет!

А еще я подумала: а почему бы, когда наш папа приедет и мы обвенчаемся, нам с ним не родить потом еще и мальчика Йозефа? Мне это очень понравилось – родить тебе. Только не опоздай, а то мне уже не двадцать лет.

Твоя жена Петра.

Значит, пражский телефон Карела, домашний телефон.... Значит, если я надумаю, написать Петре, и она вышлет...

Назавтра я надумал. Написал. Через месяц получил ответ. И вскоре позвонил Карелу. Всё бы хорошо, да деньги, деньги за эти разговоры с любимой Прагой! Да черт с ними, потому что мы с Карелом хорошо поговорили, а это дороже денег.

5.

В начале 80-х Кир Булычѳ спросил меня однажды, причем с обычной своей лукавинкой, не созрел ли я издать свою книгу. Кажется, созрел, ответил я, книга есть, точнее, рукопись книги, сборник повестей и рассказов, но как издать? Он кивнул и сказал: дай почитать. Я дал. Через месяц звонок: «Сэр, это литература, надо печатать. Однако сие сложно в нашем мире, тебе сложно, ибо ты не член Союза писателей. У нас ведь формула такая: тебя не издают, потому что ты не член Союза, а не член Союза ты потому, что тебя не издают. Замкнутый круг. Но попытаться надо. Первое – рекомендации или связи в этом мире. Но начнем с предисловия, оно и есть рекомендация. Давай я предисловие напишу, идет?»

Ну, что тут скажешь?

Еще дней через десять новый звонок: «Приезжай ко мне, посидим, предисловие возьмешь».

Потом я сделал ксерокопию этих двух машинописных страниц за подписью мэтра. На память. А первичный текст приложил к машинописной рукописи книги и отнес в редакцию издательства «Молодая гвардия». Именно туда посоветовал Кир, там его издавали, к тому же они намечают серию «Проза века». Как раз для тебя, пошутил он.

Я отнес. Рукопись зарегистрировали, сказали: звоните через месяц, а лучше через два, у нас полный завал, а читать будет редактор Авраменко, человек опытный, грамотный, разбирающийся.

Я доложил Булычёву, кто мой грядущий убийца: «Игорь, его фамилия Авраменко». А в ответ: «Нет, он не убийца, а мучитель. Долго тянет резину, а в принципе нормальный мужик. Давай так: если он будет тянуть, то через полгода, не раньше, я ему позвоню. Я не великий писатель, но напому о себе, он меня издавал, напому о себе и тебе».

Тягомотина длилась действительно немало, два года, несмотря на звонок Булычёва. Но издали—таки. В 84-м. Успел я, успел. За год до «перестройки», ибо во время и после нее одни издательства вошли в штопор, другие разделились, третьи стали радикально политизированными, а в 90-х почти все — нещадно коммерческими, то есть или зарабатывали на известном, раскрученном авторе, или издавали автора за его счет.

Я успел. Моя первая книга с предисловием Кира Булычёва называлась «Несколько нежных дней». Естественно, она была послана в Теплице, и так же естественно, что я преподнес ее моему благодетелю, автору предисловия. Когда мы обмывали это дело, он, в числе прочего, поведал мне о своих корнях. Отец его Всеволод Можейко, выходец из белорусско-литовских шляхтичей с гербом Трубы, а мать была дочерью офицера, полковника Михаила Булычёва, преподавателя фехтования Первого Кадетского корпуса, а сама она до революции обучалась в Смольном институте благородных девиц.

Вот такая генеалогия писателя-фантаста, потомка фехтовальщика и благородной девицы, крепкого историка и моего благодетеля.

Тем не менее, перестройка и некоторые ее последствия лично мне кое-что дали. Точнее, дали две вещи — членство в Союзе писателей и визу в Чехословакию.

По настоянию отца я подал заявление в Союз писателей, присовокупив к нему: а) три положенные рекомендации (конечно, от Кира Булычёва, поэта Юрия Ряшенцева, с которым был знаком несколько лет, и еще одного писателя, публиковавшегося в «Искателе»), б) тоже как полагалось, свои публикации в «Дружбе народов», вышедшую книгу «Несколько нежных дней» и изданный в Австрии рассказ «Молодой Александр» (теперь — наконец-то! — на эту «антисоветчину» вряд ли поглядели бы косо). Так и вышло: меня приняли в Союз писателей.

Что я от этого получил? Да ничего, по сути, кроме осознания, что теперь я писатель официально.

А вот от наличия визы в Чехословакию я получил очень многое.

6.

— Нет-нет, только самолетом! — твердо сказал я в ответ на возражение Петры по телефону. — В поезде я с ума сойду от нетерпенья. Только самолетом!

— Страшно мне. Но... ладно. И вот еще: мы тебя встретим в аэропорту, я и Квета.

— Господи, да зачем вам мотаться? Я спокойно прибуду в Теплице автобусом, всего-то два часа. Зачем тебе ехать, да еще с девочкой?

– Петер, она не девочка, она уже холку... э, ну, девушка, ей одиннадцать лет, ты забыл, да?

Я помнил, но всё равно чуть не ахнул, услышав это:

– Да-да, конечно. Одиннадцать!.. Но, Петра, незачем вам ехать, я сам!

– Нэ, Петер! Встретим. Ты решил про самолет, а я про встретить. А еще: мне надо в Праге одно дело узнать. Всё, мой Петер. Скажи про билет, когда купишь его: день, рейс, какой час. Я жду тебя, жду, и Кветка, и все мы!..

Опять был сентябрь, как и в первый мой приезд в Прагу. Солнечно, тихо, легкая дымка. Самолет приземлился в международном аэропорту Рузыне около двух пополудни. Из вещей при мне – одна большая сумка с ремнем через плечо, поэтому, после паспортного контроля, не надо было ожидать багаж, и я сразу вышел в зал, где толпились встречающие.

Вот и Петра – я увидел ее, когда она уже подлетела ко мне, с развивающимися длинными волосами, в расстегнутом светлом плаще. Мы обнялись (я только успел сбросить сумку с плеча) и так стояли с полминуты. Наконец Петра чуть отпрянула и, улыбаясь, кивнула себе за спину:

– Смотри, кто есть там!

Там, в десяти метрах от нас, в джинсах и короткой куртке, стояла девушка-подросток. Уже длинноногая, с длинными темными, как у матери, волосами. А лицо... нет, это не Петра, это кто-то другой, но симпатичный и смешной, черт возьми, несмотря на серьезное, даже напряженно-серьезное выражение этого смешного лица. Она, моя дочь, которую, уже не на фото, я видел впервые, отца не узнавала, хотя тоже видела меня на фотографиях. И я не узнавал ее: она для меня так и осталась трехлетней Кветкой на большой фотографии Карела, что висела на стене в моем московском доме. А ей, оказывается, уже одиннадцать. Время, наше социалистическое время, что же ты наделало с моими мозгами!

– Квета, ты не так, не надо стоять, иди к папе! – радостно крикнула Петра и следом что-то продублировала по-чешски.

Квета сделала шаг вперед, не меняя серьезного выражения лица – глаза напряжены, губы в ниточку, и опять стала как вкопанная. Я понял. Я понял, что это должен сделать я. И сам пошел ей навстречу. Охватил руками, прижал к себе, стал водить щекой по ее волосам, зарываясь в них. Долго так водил, пока она не отстранилась чуточку. И выговорила низковато одно слово:

– Отец.

И тут же звонкий голос Петры за моей спиной:

– Папа, папа, говори по-русски – папа! Разумеешь, дцера?

И дцера (дочь) опять выдавила из себя хрипловатым баритоном, и как-то без удивления, серьезно:

– Папа.

Я хохотнул, Петра замотала головой, убирая с глаз непослушные волосы, Квета по-прежнему стояла столбом. Я набросил на плечо ремень сумки, спросил длинноногую:

– В волейбол играешь, в баскетбол?

Она кивнула:

– Нэ, в теннис. Мы с мамой на корт ходим. Я ее играю лучше. И тренер меня хвалит, сказал, буду чемпион.

– Ты будешь чемпион хлудит се! – хмыкнула Петра и тут же услышала поправку:

– Мама, по-русски это – хвалиться, хвастаться.

– Поняла, мама! – сказал я, уже делая шаг к выходу из зала: – Пошли, Новаковы!..

Меня повели к стоянке такси.

– Зачем это? – не понял я. – Что, на автобусе нельзя? Очень богатые, да?

Петра не прореагировала на эти мои вопросы, а Квета отчеканила:

– Мама решила – это всё. Заважни очень.

Смысл этого слова был мне понятен:

– Серьезная, говоришь, мама? Да, согласен, она – очень-очень. А вот я не серьезный. Скажи, Петра, у тебя несерьезный муж?

Вместо ответа Петра скомандовала:

– Быстро в авто! Петер, сумку в багажник! – Но уже в машине объяснила: – Э, муж несерьезный! От аэропорта до Праги семнадцать километров, на авто – это пятнадцать-двадцать минут, а на автобусе – почти час. А у нас рейс в Теплице через час, с автовокзала. Понятно? А кто сказал «заважни», «заважни»!

Мы долго сидели за столом всем семейством – три поколения сразу. Я поглядывал на Квету, украдкой, но постоянно. Она тоже стреляла глазами в мою сторону, и иногда наши взгляды встречались. Тогда она резко опускала голову и что-то искала в своей тарелке. А в беседы не вступала, ела молча, но внимательно слушала, без эмоций на лице. Всегда такая или меня стесняется? Так и спросил напрямую, с улыбкой:

– Кветослава, ты молчушка?

Она лишь пожала плечами (не поняла или как?), а вот пан Густав понял:

– Нет, Алексей, наша Кветослава любит говорить, очень любит, особенно когда с мамой за фортепиано занятия. Так говорит много! Очень спорит.

Квета опять пожала плечами. Я обернулся к Петре:

– Что она играет?

Петра доложила:

– Уже много чего. Теперь прелюды Шопена играет. Неплохо. Но сейчас...э, в одиннадцать лет... лень много стало.

– Ну, в одиннадцать лет все девочки ленятся, понятное дело! – изрек я с ученым видом знатока переходного возраста. И добавил, чтоб таковым не показаться: – И это правильно. Лень – это... Благословенна лень, томительнейший плен! Так написал один наш поэт, Вознесенский.

– О, то е краснэ, красиво! – иронично заметила Петра. – Но то е не Вознесенский, а Квета Новакова.

– Ладно, мамочка, больно ты серьезная у нас, заважни! – усмехнулся я. – Наверно, так всех и мучаешь в консерватории?

– О да, да! – наконец открыла рот Квета.

Ясно: давняя дискуссия в этом семействе. Я поблагодарил за сытный обед и поднялся из-за стола:

– Пойдем-ка в твою комнату, дочь! Книжки свои мне покажешь, ну и еще что там у тебя интересного. Вперед!.. Э, бабушка и дедушка, еще раз спасибо, очень вкусно. Петра, а не сделаешь ли нам кофе? А коньяк-то где? Вы как, пан Густав? Помнится, вы хотели, чтоб мы с вами выпили за вашу внучку, по совместительству мою дочку? Вот и краснэ. Кветка, пошли!..

Потом была ночь. И опять мы не спали почти до утра. Опять – это как много лет назад, когда Петра приехала ко мне в Москву. Только теперь (не то, что тогда), она мне шептала: «Ты мой рот закрывай, а то я кричу, да? Родители услышат и Кветка».

Наверное, настал момент, когда она почувствовала, что я совсем расслабился, просто в прострации, и начала говорить, водя пальцем по моему лицу:

– Петер, мой Петер!.. Мой Петер еще не знает, что будет через три дня. О, что будет!

– И что будет? Чего не знает твой Петер? – еле выговорил я.

– Чего? А через три дня мой Петер будет венчаться с Петрой Новаковой.

– Бедный Петер! – вздохнул я. – Но сказка какая!

И тут она враз посерьезнела:

– Нэ, то е не сказка. Уже всё готово. Через три дня, в храме.

Я знал ее хорошо. Ее лицо никогда меня не обманывало. Я поглядел на это ее лицо и что-то понял.

– Петра, ты серьезно?

– Очень, да, – прозвучало спокойно, будто речь шла о чем-то обыденном.

– То есть?

– То есть через три дня. Уже есть время, то есть когда, и нас будет ждать священник, будут родители, Кветка, гости. Я всё сделала, подготовила, в храме записали.

Я присел в постели. Как-то у меня поплыла голова. И вдруг до меня дошло:

– погоди, чудо моё! Ты врушка, да? Это как же? Как же в храме может венчаться католичка с атеистом? Я знаю, это никак невозможно, мне говорили в Москве еще давно, я узнавал.

Петра вдруг рассмеялась:

– А, разумею, разумею! Ты это... ты хочешь иметь повод, чтобы сказать «нет»? Э, спрятать себя?

– Найти лазейку, – подсказал я.

– Как? А, поняла. Да, так. Так, да?

– Нет, не так. Я не против, даже с удовольствием, но знаю, что такое венчание невозможно – ты и я, атеист. У вас, католиков, невозможно.

И опять ее смех:

– Нэ, возможно! Вэлми воможно, Петер! Это раньше, давно, было нени можнэ, а теперь можнэ, можнэ! Ватикан разрешил. Только вот что мне сказал священник: если католичка идет замуж за иноверца или атеиста, для Церкви вэлми важно, чтобы женщина воспитала своих детей в христианской вере. Понял? Я воспитала. Моя Кветослава, твоя Кветослава – истинная христианка, я так священнику сказала. Он сказал: благословляю, дочь моя. И он нас с тобой ждет венчать. Ты понял?

Теперь я понял.

– О, бедный Петер! Ах, Ватикан! – проговорил и рассмеялся. – Отлично! Значит, ты это решила. Решила за меня.

Петра покивала:

– А, так, так, именно. Ты долго ждал, много лет. Хватит, Петер. Я давно твоя женщина, у нас дитя, а я не венчана. Это плохо, это не по-Божески. Да, можно и так, но хватит. Теперь по-другому. Я решила, что хватит, и ты верно сказал, решила за тебя. Ты не любишь быстро решать, ты медленный, я давно это сразумела. Ты еще долго ждать можешь. А я – хватит. Я люблю тебя, и всю жизнь буду любить, но теперь я хочу венчаться с тобой, и вот ты наконец прилетел, ты здесь, а потом опять улетишь – значит, пора, сейчас, через три дня. То е так, Петер. Всё, Петер.

Она вздохнула, уыбнулась, и я увидел в ее глазах влагу.

– Ты что, плакать собралась? – склонился над ней. – Ты что? Я согласен, трижды согласен! Зачем же плакать?

– А чуть, со счастья, – услышал шепот. – Я люблю тебя. Я еще сильнее любила тебя три раза: когда ты взял моё девство, когда в 68–м в Праге лезла на танки и мне вдруг почудилось, что больше тебя никогда не увижу, и когда родила Кветку. Три раза. В те минуты я любила тебя... как это? э, без ума, еще сильнее, как было всегда, как каждый день. И вот сейчас я люблю тебя еще так, очень, без ума. Это четыре. Четыре раза, значит.

Мне оставалось только гладить ее, целовать родное тело, каждую клеточку которого я знал будто наизусть, но всё равно тянуло гладить и целовать, молча, безвременно, всегда. Всегда, однако, не выходило. Так сложили нашу жизнь.

– А вопрос: какая форма одежды? Я с собой даже костюма не прихватил. Всякая спортивная одежда, хоть в теннис с Кветкой играй.

Петра вытерла глаза, сказала серьезно:

– Ничего, мой Петер, возьмем в прокат тебе смокинг, кравата.

– Что такое кравата?

– Э, ну что на шее у мужчин.

– Галстук?

– Ну, да, да. По-немецки Halsstuck или Kravatte. И рубашку классную купим, с ворот-стойка. Так я хочу тебе. Ты вэмли красен будешь. Всё хорошо, нет проблем.

– А твое платье, подвенечное, оно где?

– Тоже нет проблем, уже заказала, когда ты позвонил и сказал, что виза есть.

– Ну ты даешь!.. погоди, а где? Венчанье где – в Праге, в соборе Святого Вита, как ты мечтала?

– О, нэ, к печали! Узнала, там очередь на много месяцев.

– Господи, и у вас очереди! И даже в храме!

– Нэ, там святая очередь. Там, у Вита, то е кафедральный собор, самый главный, там архиепископ, там важные службы, визиты, иностранные персоны, потому венчанье редко, есть расписание, вот и очередь. Я звонила туда, а когда мы с Кветкой ехали в Прагу тебя встречать, пошли туда, и священник мой опять сказал – нет, только в ржиен, в октябре, а ты уже улетать давно будешь.

– И где же тогда?

– А здесь, в Теплице, в моем костеле Иоанна Крестителя, совсем близко, завтра увидишь. Там ждет священник, всё готово.

– Обалдеть можно! Жаль, моих мамы с папой не будет!

– О, Петер! Так не сложить мне было, прости меня, но как мне это? Никак.

– Понимаю, да... Ну а потом?

– Потом, после костела, идем с гостями за стол.

– Куда?

– В городе, хорошее кафе, тоже рядом, пешком.

– Сумасшедшие деньги!

– А, Петер! Венчанье-то е один раз в жизни. Что тут деньги, ты что?

Этот католический обряд венчания стоило запомнить на всю жизнь. Я и запомнил. А как иначе, если ты не согласишься, а в роли жениха. Если так, то... А если ты еще атеист и всё для тебя необычно – сам готический храм, витражи, росписи, люди, сидящие на скамьях, ряды которых заполняют зал, священник в белом одеянии, то... А если ты еще и иностранец, а все тут говорят по-своему, и звучит орган, то... И сам ты в черном смокинге с рубахой при высоком стоячем вороте, с галстуком-бабочкой, а твоя невеста (о, мать божья!) в ослепительно белом длинном платье, с оголенной спиной, и всем понятно, что целомудренней этой сорокалетней женщины, у которой почти взрослое дитя, – всем понятно, что целомудреннее ее никого быть не может, и это сущая правда, то...

Ладно, к делу. Кто свидетели? Их сразу четверо – по два у жениха и невесты, так положено. Их роль исполняли Петрины друзья по консерватории, относительно молодые люди обоего пола, торжественно одетые, особенно дамы, явившиеся в красных декольтированных платьях, очень длинных. Теперь – гости, севшие рядом на скамьях по обе стороны от прохода в центре. Их оказалось человек пятнадцать, тоже консерваторские, и еще несколько мужчин постарше, приятели пана Густава по работе (значит, коммунисты из райкома партии – во как!).

Теперь, конечно, родители невесты, тоже изящно приодетые, торжественные, довольные.

И наконец – еще одно чудо. Если не главное, то одно из таковых. Выяснилось, это значимый персонаж католического венчания. Маленькая девочка. Но поскольку маленькой не оказалось (специально), то ею как бы стала одиннадцатилетняя дочь невесты (и жениха, между прочим). Квета, как положено по обряду, предстала в алом свадебном платье, именно свадебном, но алом. Образ невинности, девственности, святой чистоты.

Теперь сам обряд, наконец. Пан Густав, как отец, ввел дочь-невесту в храм, затем по красной ковровой дорожке повел под руку через весь костел к алтарю. Привел Петру ко мне, жениху, и словно передал ее из своих рук в мои руки. Отныне

я есть надежда родителей на счастливую жизнь своего чада в супружестве. Да, уже не отвертись.

Свидетели стали рядом с нами, по две стороны. А перед нами возник священник. Сказал какие-то вступительные слова, затем прочитал какую-то молитву, затем, как мне шепнула Петра, начал нас причащать. Далее вопрос Петре и мне: «Есть ли кто-то или какие-то причины, которые могут воспрепятствовать браку?» Мы ответили «нет» (про свою страну я и думать забыл).

Теперь, перевела мне Петра слова священника, надо дать друг другу обет верности, клятву. Что делать – мы поклялись: Петра что-то прошептала, я, глядя ей в глаза, сказал, что попробую. Она улыбнулась и вытянула ко мне губы. Мы сладко поцеловались. Со скамей послышались аплодисменты.

После этого один из свидетелей, назначенный главным, передал мне кольца, которыми мы с Петрой должны были обменяться. Очень важный момент: не дай бог, уронить кольцо – плохая примета! Обошлось.

И наконец, финал: мы расписались в специальной церковной книге. После этого священник возгласил, что венчание состоялось и отныне мы муж и жена. Петра сказала тихо: «Обними меня, Петер, черт возьми, и целуй, целуй!» Я выполнил просьбу женщины, наконец, ставшей женой.

Слава богу, всё. Нет, вовсе не утомительно, но как-то я устал. Нервничал всё-таки, вот чудак!..

Веселой толпой выбрались из костела на тихую зеленую улочку. Ласковый сентябрь, солнечно, голубое, с дымкой, небо. Постояли, гости трепались на чешском, довольные истекшим зрелищем, подходили ко мне и Петре, поздравляли, ее целовали, мне пожимали руку. Я направился к пану Густаву и пани Власте и тоже расцеловался с ними. Потом притянул к себе дочь, обнял и сказал: «Ты, Кветка, сегодня была настоящей Маленькой Девочкой. Ты после мамы самая красивая, но зато самая очаровательная, самая первая! Э, ты хорошо поняла русскую речь отца? Ну, тогда я разрешаю тебе крепко поцеловать меня. Действуй!»

Все в меду поцелуев, мы двинулись праздной толпой в кафе. Там было уже более или менее привычно, то есть как положено. Но странно, люди пили мало, но много говорили, а вскоре запели. Что еще: произносили тосты, в конце которых дарили подарки. Их набралось много, целая гора на столике сбоку. Еще: оказалось, до нашего венчания все гости были в курсе, что прилетевший из Москвы жених – он не только жених, но и отец ребенка невесты. На эту тему мягко острили и поздравляли Квету с такой удачей. Дочь не краснела и повторяла: «Tito chlapi nekdy dospele!» Пришлось обратиться к Петре за переводом. «Эти взрослые иногда молодцы!» – вот слова нашей остроумной дочери.

7.

Вернувшись в Москву, я долго рассказывал родителям о том, как прошло мое почти невероятное путешествие. О Петре, о нашем венчании, о внучке Кветославе, которую они ни разу не видели за ее одиннадцать лет. Показывал фотографии – и те, что были сделаны в храме, пока шло венчание, и снятые уже мной лично (проявку и печать мне сделали в тепличком фотоателье за один день перед моим отъездом). Ну и что родители? Они радовались и грустили. Всё прекрасно и всё как-то не так, не совершенно. Нет гармонии, увы. Жена у сына прекрасная, и внучка

хорошенькая, умница, уже здорово играет на рояле, явно талант, а вот при всем при том... Они там, он здесь. И что дальше?

– Надо тебе, Лёша, как-то формализовать свой брак в нашей державе, зарегистрировать, проштамповать в паспорте, – вздохнул отец.

– А может, не стоит? То есть вообще не сообщать в милицию. Откуда они узнают? – Это были вопросы мамы.

– Стоит. У нас шила в мешке не утаишь. Когда-нибудь выяснится... А что тебе выдали, какой документ? Справку от батюшки что ль?

Я усмехнулся:

– Почти так. Свидетельство о венчании, с печатями, на основании выписки из Книги учета венчаний. Сейчас покажу. Кстати, деталь: вообще-то теперь, то есть в эпоху социализма, положено венчаться уже после регистрации брака в местном загсе, но иногда священник позволяет до загса или – в редких случаях – вовсе вместо загса. Петра договорилась, и мы попали в число редких, тем более потому, что у нас уже есть ребенок. Ребенок есть, а загса нет... Ладно, сейчас принесу свидетельство.

Потом мама с папой рассматривали плотный лист голубоватого цвета с оттиском гравюры в левом верхнем углу, печатью и текстом на чешском языке. Хорошо поняли только наши с Петрой имена и фамилии, но об общем смысле вполне можно было догадаться, даже читая на чешской латинице.

– Ладно, – заключил эту тему отец, – я наведу справки в МИДе про нашу регистрацию браков с иностранцами. Получу приватную информацию, а там посмотрим, как лучше и проще... А вообще, тут сейчас уже не до того. Страна гореть начинает. Застой кончился, началась смута. А чем кончается смута? Отсечением голов, как известно. Грэфская площадь, или Лобное место, или, если глубже в историю, Аппиева дорога. Цена восстаний, бунтов, инакомыслия... Ладно, всё закончили о мрачном. У нас с тобой, Наденька, внучка какая, и невестка какая, и сын тоже ничего, член Союза писателей, понимаешь, обвенчанный атеист!..

Последующие несколько лет протекали, в основном, в слежении за нарастающими событиями в стране и в накоплении денег на очередную, каждым летом, поездку в Теплице. Звать моих женщин в Москву я побаивался, уж больно тут становилось тревожно: нескончаемые митинги, шествия, столкновения с милицией. Да и Петра, хоть и не говорила о том напрямую, не столько боялась, сколько стала недолюбливать Москву после пражских событий 68-го. Всё это понятно, но было жаль маму с папой, которые мечтали увидеть Петру и, конечно, внучку, талантливую шалопайку, вошедшую в период бурного пубертата.

Значит, я копил деньги, работал в «Искателе», следил за внутренними событиями, вечерами и ночами пописывал, но все-таки главное – ждал очередного отпуска, чтобы улететь в Чехию, к своим. Там мы хорошо проводили время, как-то еще теснее срастались друг с другом, и мне казалось, что моя дочка, с которой, кстати, стало интересно общаться, наконец всерьез признала меня и даже полюбила. «Да она всегда любила тебя, – успокоила меня Петра. – Сначала она любила тебя как папу, который живет в телефоне, а потом, когда увидела тебя во плоти, ей надо было привыкнуть. Привыкла, и всё в порядке. Главное для нее – она видит, как мы с тобой любим друг друга, и знает, что мы любим ее. Если ребенок видит и знает это, нет проблем».

Права Петра, конечно, права.

И еще мне нравилось и очень льстило то, что Кветка полюбила играть при мне, а в общем-то, для меня. «Жёстко звук, у тебя жёстко! – частенько укоряла Петра дочь за роялем. – Не бей клавиши, не бей, над ними порхать надо, как бабочка, а у тебя сила есть, техника есть, а где душа, нежность?» Потом, ночами, я говорил жене: «Ты торопишься. Ей сколько лет? О, самое буйство в теле, а нежность, раскрытие души – это придет, это после, после!» Петра усмехалась: «Тебе педагогом быть вместо меня, так? Сама всё знаю, но говорить надо, направлять, она только себя слышит. Но ты прав: откроется через пару лет, если ветер из головы уйдет. Надо музыку любить, как себя, как... я тебя, но тебя – это подарок Бога. Мне Бог тебя дал, а ей кого?»

Так мы говорили о дочери, о любви, а значит, жили, хорошо жили.

Однако жизнь в разъедаемой солью законопаченной бочке, плывущей по морю-океану, уже изменилась: соль сделала свое дело, и бочка потеряла герметичность. Она пока не потонула, но здорово нахлебала воды.

Сначала (и это нам, обывателям, показалось неожиданным) в 86–м прокатились короткие события в Алма–Ате, с вводом войск после мирных митингов и шествий (тысячи раненых, несколько убитых), годом позже – волнения в Прибалтике, затем на Украине, затем в Белоруссии: тоже митинги протеста и демонстрации. А в 88–м – Нагорный Карабах: уже настоящая война, раненые и убитые. И наконец кошмарные события в Тбилиси 9–го апреля 89–го.

Но то же шевеление началось и в некоторых странах соцлагеря. Понятно, главным для меня была Чехословакия – там–то что? А вот что, сообщала Петра в серии тревожно-радостных писем: в 88–м прошли первые открытые выступления людей в Праге. Поначалу они были приурочены к знаковым историческим датам страны – 1918 года (образование независимой Чехословакии в ходе распада Австро-Венгерской империи), печального 1938–го (Мюнхенское соглашение, оккупация Судетской области) и трагического 1968–го (подавление «Бархатной революции»). И что? Выступления явно оппозиционного к коммунистическому режиму народа разогнали стражи порядка, причем жестко.

Но началось-то с чего! – радовалась Петра. Вернее, с кого – с католиков! Это они организовали в Братиславе демонстрацию со свечами. Лозунги: за независимую от иностранного давления Чехословакию (намек понятен!). А вскоре, в начале 89–го, уже в Праге, католическая церковь подготовила серию массовых демонстраций, которые длились десять дней. Реакция власти стала более жесткой: после разгонов – аресты, репрессии. Народ бурлит, писала Петра, что-то зреет. Но тревога: опять вмешается СССР и задавит на корню? Одна надежда на то, продолжала она, что твоей стране, Петер, сейчас с собой бы разобраться. И все-таки тревожно.

Да, моей стране действительно стало не до кого-то вовне. Хотя может и взбрыкнуть, с нее станется. Но все-таки: как это сейчас соотнести – вывод войск из Афганистана и ввод танков в Чехословакию? Нет, этого последнего не будет, не должно быть, написал я Петре, заручившись мнением отца.

Тогда же, весной 89-го, Петра мне почти приказала, чтобы этим летом я не приезжал в Теплице. Вообще-то ее письмо было очень интересным. Привожу отрывок.

... Что-то будет, что-то будет! В эти выходные мы с Кветой поехали в Прагу, там я встретила с друзьями по Пражской филармонии, потом позвонила

Карелу, и мы посидели часик в кафе. Он много чего рассказал, поскольку журналист и знает по своим связям. Он тоже считает, что скоро будут изменения, но надо опасаться бурной агонии режима. Понял, Петер? Поэтому этим летом не приезжай к нам. Я беспокоюсь. Мне хватило. Ты – там, а я... я посмотрю. У меня дочь, но если бы не это и я жила бы в Праге, то...

Но вот еще. Это мой папа. Мой папа, Петер, тоже стал ездить в Прагу, с кем-то там встречается. Мне говорит немного потом, но я знаю: он имеет связь с теми (теми, Петер!). Они стали активно готовиться. Кажется, и главный из тех (слово «главный» подчеркнуто) тоже бывает в Праге и встречается с бывшими коллегами по тем, давним делам. Понимаешь, о чем я и о ком?

Я понимал. Значит, Александр Дубчек, давно отправленный на пенсию, наезжает из своей Словакии в Прагу. Интересно! Ну, он романтик, но и политик все-таки, должен чувствовать, какой расклад сил. Если он начал подпольные встречи с опальными реформаторами, то как – дело пошло?..

Пошло. И как пошло, теперь хорошо известно, поэтому – суть, и почти казенным языком.

С осени 89-го – откровенный демонтаж социалистической системы, причем стимулируемый «сверху» статьями в прессе, по радио и ТВ. Это сопровождалось массовыми демонстрациями. Естественно, началось со студентов, потом уже все слои вместе. Полиция действовала жестко.

А потом началась фактически революция. В ноябре. Можно сказать так: бескровное свержение коммунистического режима.

20 ноября – массовая студенческая забастовка в Праге, за ней – всеобщая, и уже не только в столице. Организованы «Гражданские форумы». Оппозицию открыто поддерживает кардинал Чехии Франтишек Томашек. После всего этого в конце ноября руководство Компартии уходит в отставку. На фоне продолжающихся демонстраций парламент отменяет статью конституции о руководящей роли КПЧ. 1-го декабря уходит в отставку президент страны Густав Гусак. Изменяется состав правительства, произведена реформа парламента. Прекращают свою деятельность органы безопасности (типа нашего КГБ), уходят в отставку лидеры МВД, прокуратуры и юстиции. Возникает и утверждается новая политическая элита. Ее ядро составляют «опальные 68-го» и диссиденты 70-80-х. И финал: незадолго до Нового года реорганизованный парламент избирает своим председателем Александра Дубчека, а президентом Чехословакии — писателя, правозащитника, главу «Гражданского форума» Вацлава Гавела.

Добавлю важное для нас: членом нового парламента (Федерального собрания ЧССР) стал Густав Новак, отец моей Петры, бывший член ЦК, мой добрый тесть.

Вот теперь действительно финал. «Бархатная революция» погладила и наше семейство.

Мой добрый тесть, как я понял, активно поучаствовавший в этих событиях (заговорщик!), вышел из компартии и, став парламентарием, продолжил карьеру в качестве законодателя (Петра написала, не без протекции бывшего коллеги по бывшему ЦК самого Дубчека). Это повлекло к изменениям в жизни семейства: оно перебралось из маленького Теплице в Прагу. Ссылка кончилась.

Пан Густав жил в столице уже с января нового 90-го года, а жена пани Власта и Петра с Кветой переехали туда в марте. Они поселились не в бывшей квартире, а в новой, находившейся (анекдот!) в Еврейском квартале – Йозефове. Старый, но отличный пятиэтажный дом с фигурными надстройками и мансардами на Яхуновой улице (адрес: Praha 1, Josefov, ulice Jáchymova, 5). Сей дом я увидел на присланном фото, а уже летом – своими глазами. Тихая улица в двух шагах от Староместской площади. Самый центр, очень удобно и красиво. Пан Густав получил там аж пятикомнатную квартиру – понятно, как депутат Федерального собрания.

Петра перевезла туда из Теплице свой кабинетный рояль. У нее своя большая комната, у Кветки тоже своя, но без рояля, а с собственным телевизором и музыкальной системой при наушниках (чтобы взрослые не мешали слушать, а то у них, понимаешь ли, слух тонкий, особенно у мамы, сообщала мне в письме почти 15-летняя дочь, мама не любит рок, Bad Boys Blue и Bonnie Tyler).

Кветка, кстати, писала уже Петра, здесь успела влюбиться в сверстника из новой (пражской) музыкальной школы. Приятный парень при прыщах и с длинными волосами, учится по классу кларнета. Эти Ромео и Джульетта дома еще не ночуют, слава Богу, продолжала моя жена, но бывают часто и иногда играют дуэтом в моей комнате. Например, пьесы Стравинского для кларнета. Это забавно, но интересно. Кветка, командирша, сама выбирает темы и аккомпанирует неплохо, мальчик же частенько опаздывает со вступлением, потому что больше смотрит на подругу. А зовут его Богуслав. Божья слава, между прочим. Вот такой анекдот, мой Петер...

А сама Петра как? Петре стукнуло сорок пять лет. Вот это действительно анекдот. Не верю и не хочу верить. Ей по-прежнему двадцать пять, когда она достигла пика своей красоты, сделавшись почти копией Анук Эмпе.

Почти копию Анук Эме опять приняли в Пражскую консерваторию, одним из педагогов на классу фортепиано. Она глубоко удовлетворена и работает много. «Ты, мой Петер, разумеешь: это еще и потому, что музыкой, если ей с утра до поздно, я замещаю мою тоску по тебе, гашу страсть. Понял?»

Да понял, понял! Как сказал один ученый, сублимация секса творчеством. Проходили это, проходим...

Летом, в отпуск, я был в Праге, и увидел того самого Кветкиного кларнетиста. Как-то вечером он провожал возлюбленную домой, зашел к нам, и Петра пригласила его на чай. Пообщались с полчаса. Нормальный парень, явно стеснялся меня, говорил мало, и исключительно по-чешски, ибо, оказалось, русского почти не знает. Общался он с Петрой и Кветкой, а на меня только посматривал. И ладно. В общем, он произвел на меня, повторяю, нормальное впечатление. Только несколько вяловатый и не улыбочатый, хотя, не исключено, это из-за стеснительности.

Потом мы поговорили о нем с Кветой. На следующий день пошли гулять вдвоем, и я спросил о ее Богуславе – что и как. И услышал в том числе: «Мама мне не доверяет, пристаёт со своими осторожностями, напоминает, что мне еще нет пятнадцати. Я спросила маму: «А ты сама – когда? И не в браке, между прочим!» Она: «Я – в двадцать. Но я знала, что Петер будет мне мужем, и я отдала себя мужу, хотя и не венчана с ним тогда, и он стал мне таким – навсегда. Я всё знала!» Ну, я ей и ответила, что тоже разберусь, и не надо мне повторять христианские истины, я и сама истинно христианка».

Что из этого следовало? Первое: Кветка хоть и без ветра в голове, но не шалопутка, и гормоны не убивают в ней разум. Второе: она мне доверяет. Это главное.

Той ночью тема продолжилась, уже с Петрой.

– Не будь занудой с дочерью, это неприлично! И вообще не мучай ее беседами такого типа.

В ответ – смех:

– Петер, ты живешь не с нами, ты ничего не знаешь! Мы с ней совсем друзья, мы как подружки. И что это она на меня вдруг жалуется тебе? Вот какая! Просто ей с тобой... как это?... интимно говорить захотелось. Но напомнить девице о чистоте я должна. Пусть как хочет, но чтоб не ребенок в пятнадцать лет, это рано. А как с абортами у нас, католиков, ты знаешь. И как... с этими, как их?... контрацептивес, да.

– Если вы как подружки, ты сказала, то и научи подружку. Научи, как делают упертые католички, чтобы избежать беременности без всяких противозачаточных средств. У тебя есть опыт и умение.

– И научу, когда надо. И вообще, Петер, ты только не беспокойся, у нас всё хорошо. У тебя нормальная дочь. Э, нет, даже очень хорошая.

Я согласился...

А еще тем летом Петра предложила мне следующее:

– Я подумала вот что. Nyní máme Havel... э, то е значит – теперь у нас Гавел. Это другая страна теперь. Тот твой рассказ... э, «Молодой Александр», он был печатан в Австрии – ну и что? Я хочу, чтобы он был печатан у нас, на моей родине. Но отдавать его в наши журналы, это не знаю, как будет, там сейчас еще коммунисты сидят по-старому, еще там не всё изменилось. И я подумала, Петер. Надо отдать рассказ Гавелу, он не только президент, он писатель, он литературу душой понимает, а там у тебя еще про Прагу 68-го. Он поймет, он скажет: печатать! То есть не прикажет, а попросит... Петер, надо делать так: приедешь в Москву, отнеси рассказ в наше посольство, там есть атташе по культуре, он примет и перешлет Гавелу. Только припиши письмо ему: Господин президент, очень хочу, чтобы... э, сообразишь, что дальше. И на конверте напиши адрес: Прага, Пражский Град, Президенту Чехословакии господину Вацлаву Гавелу. Ты меня понял, Петер? Ты согласен? Nyní máme Havel – теперь у нас Гавел!

8.

Тот мой первый рассказ, он время от времени, если помните, сотворял для меня интересные истории. И вот опять.

Я выполнил наказ Петры: написал короткое письмо президенту ЧССР Вацлаву Гавелу, не забыв упомянуть, что являюсь членом Союза писателей, а также про публикацию рассказа в Австрии в 71-м, приложил это письмо к рассказу (уже под своей фамилией, а не под псевдонимом, придуманным для Австрии), запечатал в большой конверт и поехал на улицу Фучика в посольство Чехословакии. Там попросил, чтобы ко мне вышел атташе по культуре. Ждал около получаса. Наконец появился некий мужчина и выкрикнул мою фамилию. Я передал ему конверт. Он улыбнулся: «Хорошо, хорошо, но зачем запечатали? Надо в открытом виде. Мы сами запечатаем, сами, не беспокойтесь, и отправим нашей почтой».

Итак, опять дипломатическая почта. Ладно, будем ждать. А Петре я отписал, что выполнил всё, как она сказала, я человек послушный, особенно когда просит любимая.

Ждал два месяца. Точней, не ждал, делал свои дела, о том письме почти не думая.

И вот мне позвонили из посольства: приходите, на ваше имя важное письмо.

Важное, как я понял, оно потому, что было не в типичном конверте, а большего формата, с красивым штампом Канцелярии Президента Чехословакии и с оттиском дворца Пражского Града, то есть резиденции.

Читал я уже дома. Вот текст (машинописный, но на русском, и, конечно, на специальном, с большой шапкой, президентском бланке).

Глубокоуважаемый господин Алексей Симонов!

Я прочитал Ваше произведение.

Я искренне удовлетворен Вашим сочувствием моей стране и тем, как Вы это сделали, стилем написания. Моя страна много пережила в годы оккупации фашизма и потом после 1948 года, особенно летом 1968 года. Но мы стали свободной страной, и теперь так будет всегда.

Я передал Ваше произведение в секретариат, а там оно пойдет к сотруднику, который по культуре. Он будет думать и пересылать на адрес изданий по публикациям литературы. Я надеюсь на публикацию Вашего произведения в моей стране.

Спасибо за любовь к моей стране.

Желаю Вам успехов.

Президент Чехословацкой Социалистической Республики

Вацлав Гавел

(имя и фамилия повторно вписаны от руки)

Я сделал ксерокопию этого письма и послал Петре. Она ответила: «Петер! Я так рада. Рада, какой твой рассказ и какой у меня президент! Дай Бог ему и тебе долгих лет при большом здоровье». Потом она писала про Прагу, дом, успехи Кветки и про ее, Петры, прежнюю любовь ко мне.

Забегая вперед на год, то есть в 91-й, скажу, что рассказ пока не появился в тамошней печати. Может быть, еще появится. Или, кто знает, он затерялся в недрах президентской канцелярии, или администрации, или в каких-то пражских редакциях. Или кто-то в этой цепочке преисполнился антисоветским настроением. Не знаю, то мне неизвестно. А и ладно. Мне важно письмо Гавела. Я его храню.

Вот что еще подарил мне тот первый мой рассказ. Просто невероятные вокруг него дела!

Надо упомянуть о том, что некоторое время назад, после определенных мытарств и не без помощи отца (тогда он еще работал в МИДе, то есть не вышел на пенсию), мне удалось сделать нужное дело: в моем родном советском паспорте означился штамп о заключении брака с гражданкой ЧССР Петрой Новаковой. Более того, на основании присланной из Праги копии немаловажного документа, в том же паспорте на страничке «Дети» было записано: дочь – Кветослава Новакова. Потом я подумал: надо заняться и тем, чтобы дочь носила мою фамилию. Но следующей

мыслью было: а может, не стоит? Мне нравится, что у меня две Новаковы. Тем более, через несколько лет Кветка, поди, выскочит замуж на своего длинноволосого кларнетиста, и одной Новаковой станет меньше. Зато какая останется!

Вот так летело наше время. Ну да, если уже зашла речь о возможном замужестве дочери, то летело оно быстро.

Летело оно и для моего отца. В 90-м, как раз после своего 68-летия, он вышел на пенсию. В МИДе после воцарения там Шеварднадзе шли перестановки, кого-то назначали, кого-то переводили на другую работу, и, вероятно, отец понял, что не вписывается в эту круговерть и постоянные смены курса. А тут еще и возраст все-таки. И решил уйти. Так сказать, на покой. А что – и неплохо. Тем более, и мама уже стала пенсионеркой – вот и будут вдвоем жить-поживать на даче, возиться в саду на свежем воздухе, а вечерами читать вслух хорошие книги, как делали в молодости. А сын, раз не хочет на даче, пусть сидит в вонючей, полуголодной Москве и пишет свои бессмертные романы...

Всё верно: Москва стала и вонючей, и полуголодной, а я, пребывая в ней, занимался писательством, и только им, потому что после выхода моей новой книги (романа) тоже, как и мои родители, ушел с работы. Да, я ушел из милого моего сердцу «Искателя», но не на пенсию, понятно, а к себе, в себя. Почему? В последние годы я с трудом разрывался между редакторством и писательством. Может быть, уже возраст не тот, чтобы спокойно разрываться. Пора сосредоточиться на чем-то одном. Я даже не выбирал – я знал, на чем сосредоточиться.

А деньги? Не стало ежемесячной зарплаты, но были гонорары – то за книгу, то за периодические публикации в журналах. Меня печатали, не густо, но нормально, жить можно.

Так прошел 90-й. Теперь свободный человек, я писал очередную повесть, переписывался с Прагой. И размышлял: пора бы свободному человеку соединить жизнь с женой и дочерью, Петрой и Кветкой. Оставалось придумать – как.

9.

Оказалось, за тебя придумывает время.

Наше время летело, но по ходу этого занятия подкидывало нам события, которые называют судьбоносными. И верно, именно так. Сначала, еще когда я был школьником, подкинуло мне письмо от заграничной девушки, пражанки Петры Новаковой, потом, через годы, подкинуло нам с Петрой дом в Собиновском, где она стала моей женщиной, потом, еще через несколько лет, подкинуло танки в Прагу и частичный синдром Лю-Ши-Куня, лишив мою женщину возможности стать знаменитой пианисткой, потом подкинуло мне заочную дочь, ибо впервые я увидел ее через одиннадцать лет, потом подкинуло мне венчанье в католическом храме и вот, наконец, подкинуло мне повод соединения с семьей, обитавшей в Праге.

Жуткий повод. Но я от него не отрекаюсь. Более того, мне есть чем гордиться.

Ближе к вечеру 21-го августа 91-го раздался телефонный звонок. Петра заговорила горячо:

– Ты дома, о Боже, какое счастье! Мы смотрим телевизор, всё время смотрим – наше и Си-эн-эн. Я видела танки, толпы людей, ваш Белый дом. Ты там был, будешь? Дева Святая, Петер, опять танки, опять – что за судьба у нас! Умоляю, будь осторожным. Петер, у тебя я, Кветка! Или вот: я прилечу, завтра же!

Это последнее привело меня в чувство:

– Ты, мамочка моя, в своем уме? У тебя под боком наша дочь! И еще: тебе мало твоего, мало *твоих* танков? Успокойся, со мной ничего не будет, это последний шабаш идиотов, агония. Они выдохлись, они не решатся, просто от трусости. Понимаешь – трусость пересилит злобу. Всё будет хорошо.

На том конце провода замолчали. Вдруг я услышал, как тьякнула собачка. Это было мило: здесь танки, там зажатая беспокойством Петра – и вдруг милое тьяканье. Где-то жизнь, обычная, нормальная жизнь. Собачка!

– Эй, девочка моя, кто там тьякает? – рассмеялся.

– А! – будто опомнилась Петра. – Это Кветка притащила с улицы, с подъезда, щенок. Вообще-то у нас нет бездомных собак, а тут... Какой-то плохой человек щенка на ступеньки положил. Мы его назвали *Krásné blázen*. Э, по-русски как-то так: «Милый дурачок». Так и зовем коротко: Блажен. Э, Петер, да ну его! Я подумала: что то е? Опять 21-е августа, как тогда в 68-м! 21-е, опять! Что это – судьба?

– Совпадение. Ладно, родная, выбрось всё это из головы. Уже ночь скоро, ложись спать. Кветке привет и родителям. А, еще этому Дурачку... А он кто по крови – чех? Или еврей? Где его Кветка нашла? В Йозефове! Значит, он местный, то есть еврей.

– Ай, Петер, как ты можешь шутить, когда...

– Ложись спать. Я тебе завтра позвоню, обязательно.

Я не раз слышал потом и читал, что те дни (те два дня и две ночи) были лучшими в жизни. Несмотря на всё. Несмотря на многое всё, мерзкое, хитрое и героическое. Всё-таки те дни были лучшими. Так говорили, да и я так считал. Те дни были лучшими в жизни.

Да, все-таки так, лучшими. Не потому, что я не погиб, а значит, понял, как прекрасно по эту сторону крышки гроба, в который тебя уже уложил твой животный страх. И не потому, что взаправду испытал «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» и даже «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Нет, не поэтому. А почему? Потом я понял. Понял почему. Потому что поднялся до собственного достоинства. Вот за него, за свое личное достоинство, вдруг осознанное, не абстрактное, идеальное, а действительно реальное, которое, оказывается, у тебя есть, вот за него и стоит идти туда, на баррикады, под пули, или под танки, или БТРы, или под газовую атаку с вертолетов. Ты свободен выбрать такого себя, который, оказывается, сосуществует с «нетаким». Оказывается, нас двое – такой и нетакой. Выбери. А до остального и остальных нет дела.

Так я стал наконец **таким**.

Собственно, пора заканчивать.

Через несколько месяцев после этого события, я подал заявление в ОВИР на выезд в Чехословакию на ПМЖ. Причина простая: воссоединение с женой и

дочерью. Нет оснований отказать. Мне и не отказали. Сложность была лишь в том, чтобы меня не лишали российского гражданства (именно российского, поскольку СССР только что благополучно развалился). И в конце концов я остался при своих, то есть человеком с двойным гражданством.

А так-то я простился с родиной. Она меня достала. Но она моя. Мы еще встретимся, надеюсь. Я имел право сказать ей «пока!», потому что именно в ней стал наконец **таким** (см. выше) и вышел защищать ее от **нетаких** и от себя **нетакого**.

Теперь я живу в городе Прага. Живу постоянно, вместе со своей семьей. Работаю – то есть пишу себе и пишу. Уже подписал договоры на две книги, в чешском и германском издательствах, в переводах на их языки. Грабиловка, конечно, но надо привыкать. Привыкаю. Всё хорошо. Ностальгия, это есть, есть, однако я не ощущаю себя изгоем и эмигрантом. Я – дома. Беру уроки чешского, платные. Расплачиваюсь не кронами, а ночами, поскольку мой учитель – Петра. Она говорит, что я стал скуп, мы так не договаривались. Шутит. Что еще? Есть несколько друзей, иногда встречаемся, ходим в бар пить пиво. Один из них – Карел Черны, у нас теплые отношения, и Петра этому рада, я знаю, да и я рад. Еще мы планируем обзавестись собственной квартирой, хотя у нас чудесные отношения с родителями, парламентарием паном Густавом и его супругой. Просто хочется жить втроем – моя Петра, моя Кветослава и я. Ах да, и собачка, шерстистый кобель, дворянин–еврей Krásné blázen, или просто Блажен, Дурачок.

А что до меня и Петры, то так:

Я знаю, что она выполнит обещание. А точнее говоря, даже не обещание, а то, что сказано в последних строках Протокола любви, подписанного девственной кровью этой некогда юной женщины. Там, где о ее мужчине, муже: *«И будешь следовать за ним, и в старости его и болезни его ходить за ним, и выносить смрады его»*.

2012